Джон Уилльямс

СТОУНЕР

роман

Прошло пятьдесят лет, и “Стоунер” стал бестселлером. Совершенно неожиданно. Бестселлером общеевропейским. Бестселлером самой чистой пробы — почти исключительно благодаря читательской любви и отзывам, передаваемым из уст в уста.

Джулиан Барнс

CORPUS

Джон Уильямс

Стоунер

«Corpus (АСТ)»

1965

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44

Уильямс Д.

Стоунер / Д. Уильямс — «Corpus (АСТ)», 1965

ISBN 978-5-17-090823-3

Поэт и прозаик Джон Уильямс (1922–1994)» лауреат Национальной книжной премии США, выпустил всего четыре романа, и один из них – знаменитый "Стоунер", книга с необычной и счастливой судьбой. Впервые увидев свет пятьдесят лет назад, она неожиданно обрела вторую жизнь в XXI веке. Переиздание вызвало в Америке колоссальный резонанс. Знаменитая на весь мир Анна Гавальда взялась за французский перевод, и "Стоунер" с надписью на обложке "Прочла, полюбила и перевела Анна Гавальда" покорил Францию. Вскоре последовали переводы на другие языки, и к автору пришла посмертная слава,Крестьянский парень Уильям Стоунер неожиданно для себя увлекся текстами Шекспира. Отказавшись возвращаться после колледжа на родительскую ферму, он остается в университете продолжать учебу, а затем и преподавать. Все его решения, поступки, отношения с семьей, с любимой женщиной, и, в конечном счете, всю его судьбу определяет страстная любовь к литературе. Отсюда и удивительное на первый взгляд признание Анны Гавальды: "Стоунер – это я",

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-17-090823-3

© Уильямс Д., 1965
© Corpus (АСТ), 1965

Содержание

Глава I 6
Глава II 17
Глава III 25
Глава IV 37
Конец ознакомительного фрагмента. 40

Джон Уильямс
Стоунер

Посвящаю эту книгу своим друзьям и бывшим коллегам по кафедре английского языка университета Миссури. Они сразу поймут, что она – плод художественного вымысла: ни один из персонажей не имеет реального прототипа из числа живых или умерших, ни одно из событий в ней не основано на том, что в действительности происходило в университете Миссури. Они увидят еще, что я вольно обошелся как с физическими реалиями университета, так и с его историей, поэтому место действия романа, по существу, тоже можно считать вымышленным.

John Williams
Stoner

Перевод с английского Леонида Мотылева

Публикуется с разрешения автора и Frances Collin Literary Agency (США) при содействии Агентства Александра Корженевского (Россия)

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

© by John Williams, 1965
© Л. Мотылев, перевод на русский язык, 2015
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2015
© ООО "Издательство АСТ", 2015 Издательство CORPUS ®

Глава I

Уильям Стоунер поступил на первый курс университета Миссури в 1910 году, когда ему было девятнадцать. Восемь лет спустя, когда шла Первая мировая, он получил степень доктора философии и преподавательскую должность в этом университете, где он учил студентов до самой своей смерти в 1956 году. Он не поднялся выше доцента и мало кому из студентов, у которых вел занятия, хорошо запомнился. Когда он умер, коллеги в память о нем приобрели и подарили университетской библиотеке средневековый манускрипт. Этот манускрипт и сейчас можно найти там в отделе редких книг; он снабжен надписью: “Передано в дар библиотеке университета Миссури в память об Уильяме Стоунере, преподавателе кафедры английского языка. От его коллег”.

Студент, случайно натолкнувшись на это имя, может вяло поинтересоваться, кто такой был этот Уильям Стоунер, но вряд ли его любопытство пойдет дальше вопроса, заданного мимоходом. Преподаватели, не особенно ценившие Стоунера при жизни, сейчас редко о нем говорят; пожилым его имя напоминает о конце, который их всех ждет, для более молодых это всего-навсего имя, звук, не пробуждающий воспоминаний и не вызывающий из небытия личность, с которой они могли бы ассоциировать себя или свою карьеру.

Он родился в 1891 году на маленькой ферме недалеко от поселка Бунвилл посреди штата Миссури, примерно в сорока милях от города Колумбии, где находится университет. Хотя его родители, когда он появился на свет, были молоды – отцу исполнилось двадцать пять, матери всего двадцать, – Стоунер даже в детстве думал о них как о стариках. В тридцать отец выглядел на все пятьдесят; сутулый от трудов, он безнадежными глазами смотрел на участок засушливой земли, который позволял семье кое-как перебиваться от года к году. Для матери вся ее жизнь, казалось, была долгим промежутком, который надо перетерпеть. Морщинки вокруг ее бледных отуманенных глаз были тем более заметны, что тонкие прямые седеющие волосы она зачесывала назад и стягивала на затылке в пучок.

С самых ранних лет, какие Уильям Стоунер помнил, у него были обязанности по хозяйству. В шесть лет он доил костлявых коров, задавал корм свиньям в свинарнике рядом с домом и собирал мелкие яйца, которые несли тщедушные куры. И даже когда он стал ходить в сельскую школу в восьми милях от дома, весь остальной день от темна до темна был у него наполнен всевозможной работой. Под ее тяжестью в семнадцать его спина уже начинала сутулиться.

На этой одинокой ферме он был единственным ребенком, и необходимость труда сплачивала семью. Вечерами все трое сидели в маленькой кухне, освещенной одной керосиновой лампой, и смотрели на желтое пламя; нередко за час, отделявший ужин от сна, там не раздавалось никаких звуков, кроме скрипа стула от перемещения усталого туловища да еле слышного потрескивания потихоньку проседающих деревянных стен.

Дом был квадратный в плане, и некрашеные бревна крыльца и вокруг дверей покосились. С годами дом приобрел цвет сухой земли, серо-коричневый, с белыми прожилками. На одной его стороне была общая комната, продолговатая и скупо обставленная: стулья с прямыми спинками, грубые столы; рядом – кухня, где семья проводила большую часть того малого времени, что могла проводить вместе. Другую половину дома составляли две спальни, в каждой – железная кровать, выкрашенная белой эмалью, один прямой стул и стол с лампой и тазом для мытья. Полы были щелястые, из некрашеных, трескающихся от старости досок, и пыль, которая поднималась сквозь щели, мать каждый день заметала обратно.

Школьные задания он выполнял так, словно это были такие же дела, как на ферме, разве лишь несколько менее утомительные. Когда он весной 1910 года окончил школу, он ожидал,

что на него теперь ляжет больше полевой работы; отец за последние месяцы стал на вид более уставшим и каким-то медлительным.

Но однажды вечером в конце весны, после того как они вдвоем весь день окучивали кукурузу, отец, поужинав на кухне и подождав, пока мать заберет со стола тарелки, заговорил с ним:

– На той неделе сельхозконсультант заходил.

Уильям поднял на него глаза от круглого кухонного стола, покрытого клеенкой в красно-белую клетку. Он ничего не сказал.

– Говорит, в университете в Колумбии открыли новый колледж. Сельскохозяйственный. Говорит, тебе бы там поучиться. Это четыре года.

– Четыре года, – повторил Уильям. – И не бесплатно же.

– Жилье и питание можешь оплачивать работой, – сказал отец. – У твоей матери там двоюродный брат поблизости живет. Книги и прочее – это купишь. Я буду присылать в месяц доллара два-три.

Уильям положил ладони на клеенку, которая тускло отсвечивала под лампой. Дальше Бунвилла, до которого было пятнадцать миль, он еще ни разу из дому не отлучался. Он сглотнул, чтобы голос звучал ровно.

– Думаешь, сможешь сам тут управиться? – спросил он.

– Управимся, я и мама твоя. Верхние двадцать буду пшеницей засевать, ручной работы станет меньше.

Уильям посмотрел на мать.

– Ма? – спросил он.

Она ответила бесцветным тоном:

– Делай, как папа говорит.

– Вы правда хотите, чтобы я поехал? – спросил он, точно наполовину надеялся на отрицательный ответ. – Правда хотите?

Отец изменил положение тела на стуле. Посмотрел на свои толстые мозолистые пальцы – в их складки земля въелась глубоко, несмываемо. Сплетя пальцы, поднял руки со стола движением, похожим на молитвенное.

– Я вот мало чему учился, – сказал он, глядя на свои руки. – После шестого класса бросил школу, стал работать на ферме. В молодости никогда учебу высоко не ставил. Но сейчас не знаю. Земля с каждым годом суше, работать все тяжелей; я мальчиком был – на ней лучше все росло. Консультант говорит, сейчас есть новые способы, как вести хозяйство, в университете, мол, этому учат. Может, он и прав. Иногда работаю в поле, и мысли приходят… – Он замолчал. Сплетенные пальцы сжались туже, и он уронил руки на стол. – Мысли приходят… – Он покачал головой, хмуро глядя на свои руки. – Давай-ка двигай туда по осени. А мы с мамой управимся.

Это был первый раз, когда отец при нем говорил так долго. Осенью Уильям отправился в Колумбию и записался на первый курс сельскохозяйственного кол леджа.

Он прибыл в Колумбию с новым черным шерстяным костюмом, заказанным по каталогу в “Сирсе и Робаке” и оплаченным скопленной за годы материнской выручкой за куриные яйца и прочее, с поношенным отцовским пальто, в синих сержевых брюках, которые в Бунвилле он раз в месяц надевал в методистскую церковь, с двумя белыми рубашками, с двумя комплектами рабочей одежды и с двадцатью пятью долларами наличных денег, которые отец занял у соседа под осенний урожай пшеницы. Из Бунвилла, куда родители рано утром привезли его на своей запряженной мулом телеге без бортов, он двинулся дальше пешком.

Стоял жаркий осенний день, и на дороге из Бунвилла в Колумбию было пыльно; он шел почти час, потом с ним поравнялся грузовой фургон, и возница предложил его подвезти. Он кивнул и сел к нему. Сержевые брюки были до колен красные от пыли, загорелое обветренное

лицо покрылось пылью, смешанной с потом. Всю долгую дорогу Уильям неуклюже вытряхивал пыль из брюк и приглаживал прямые песочного цвета волосы, которые никак не хотели лежать ровно.

До Колумбии добрались под вечер. Возница высадил Стоунера на окраине городка и показал на группу зданий под высокими вязами: – Вон он, твой университет. Там будешь учиться.

Несколько минут после того, как фургон поехал дальше, Стоунер стоял неподвижно, глядя на университетский комплекс. Никогда раньше он не видел ничего столь впечатляющего. Красные кирпичные здания окружала обширная зеленая лужайка с купами деревьев и каменными дорожками. Стоунер испытывал благоговение, но под ним, под этим священным трепетом вдруг возникла безмятежность, неведомое прежде чувство безопасности. Было довольно поздно, но он долго ходил вокруг кампуса, ходил и смотрел издали, словно не имел права приблизиться.

Уже почти стемнело, когда он спросил у прохожего, как выйти на Эшленд-Грэвел – на дорогу, ведущую к ферме Джима Фута, двоюродного брата его матери, на которого он должен был работать. К белому каркасному двухэтажному дому, где ему предстояло жить, он подошел в темноте. Футов он ни разу до той поры не видел, и ему было не по себе из-за того, что он явился так поздно.

Они встретили его кивками и испытующими взглядами. Несколько неловких секунд он простоял в двери, а затем Джим Фут жестом позвал его в маленькую, слабо освещенную общую комнату, заставленную мягкой мебелью, с посудой и безделушками на тускло поблескивающих столах. Садиться Стоунер не стал.

– Ужинал? – спросил Фут.

– Нет, сэр, – ответил Стоунер.

Миссис Фут поманила его за собой пальцем. Стоунер последовал за ней через несколько комнат на кухню, где она показала ему на стул, стоявший у стола. Поставила перед ним кувшин с молоком и положила несколько ломтей холодного кукурузного хлеба. Молока он выпил, но хлеб жевать не мог, до того пересохло во рту от волнения.

Фут вошел в кухню и встал подле жены. Он был коротышка, всего каких-нибудь пять футов три дюйма, с худым лицом и острым носом. Жена была выше его на полголовы и дородная; под очками без оправы толком не разглядишь глаз, тонкие губы сжаты. Оба, пока Стоунер пил молоко, смотрели на него очень пристально.

– Кормить и поить скотину, задавать с утра корм свиньям, – быстро проговорил Фут.

– Что? – переспросил Стоунер, взглянув на него рассеянными глазами.

– Это твои утренние дела, – сказал Фут, – до занятий в колледже. Вечером опять же поить и кормить, собирать яйца, доить коров. Колоть дрова, когда будет время. В выходные подсоблять мне в чем понадобится.

– Да, сэр.

Фут изучающе смотрел на него еще несколько секунд.

– Колледж, надо же, – сказал он и покачал головой. Так что девять месяцев он за кров и стол делал все, что было перечислено. Вдобавок пахал и боронил, корчевал пни (зимой пробиваясь сквозь три дюйма мерзлой земли) и сбивал масло для миссис Фут, которая покачивала головой с сумрачным одобрением, наблюдая за тем, как деревянная маслобойка с хлюпаньем ходит вверх-вниз.

Его поселили на втором этаже в бывшей кладовке; из мебели там имелись чугунная продавленная кровать с тонким перьевым матрасом, сломанный столик с керосиновой лампой, шаткий стул и большой сундук, служивший ему письменным столом. Зимой все тепло, что он получал, просачивалось к нему сквозь пол с первого этажа; он заворачивался в обтрепанные

одеяла и покрывала, которыми его снабдили, и, читая книги, дул на онемелые пальцы, чтобы не рвать страниц.

Он выполнял свою учебную работу так же, как работу на ферме: тщательно, добросовестно, не испытывая ни удовольствия, ни подавленности. К концу первого курса средняя оценка у него была чуть ниже чем “хорошо”; он был доволен, что его результаты не хуже, и его не огорчало, что они не лучше. Он понимал, что узнал то, чего не знал раньше, но это значило для него одно: на втором курсе он, вероятно, сможет учиться так же неплохо, как на первом.

На летние каникулы он вернулся к родителям на ферму и помогал отцу с полевыми работами. Отец спросил его раз, как ему нравится в колледже, и он ответил, что очень нравится. Отец кивнул и больше ни о чем не спрашивал.

Только на втором курсе Уильям Стоунер понял, ради чего он учится.

Ко второму курсу он стал в кампусе довольно заметной фигурой. В любую погоду носил один и тот же черный шерстяной костюм с белой рубашкой и галстуком-ленточкой; из рукавов пиджака торчали запястья, брюки сидели на нем странно – можно было подумать, он обрядился в униформу с чужого плеча.

Футы перекладывали на него все больше работы, а вечерами он подолгу сидел за учебными заданиями; он шел по программе сельскохозяйственного колледжа, которая обещала ему диплом бакалавра, и в первом семестре второго курса у него было две главные дисциплины: химия почв, которую преподавал его колледж, и полугодовой обзорный курс английской литературы, который довольно-таки формально обязывали пройти всех студентов университета.

С естественно-научными предметами он после первых недель стал справляться без особого труда: просто надо было сделать то-то и то-то, запомнить то-то и то-то. Химия почв заинтересовала его в общем плане; до той поры ему не приходило в голову, что бурые комья, с которыми он всю жизнь имел дело, – не только то, чем они кажутся, и он смутно предполагал теперь, что познания по части почв могут ему пригодиться, когда он вернется на отцовскую ферму. А вот обязательный курс английской литературы обеспокоил его, вывел из равновесия так, как ничто раньше не выводило.

Преподавателю было немного за пятьдесят; звали его Арчер Слоун, и в его манере вести занятия проглядывало что-то презрительное, как будто между своими познаниями и тем, что учащиеся могли воспринять, он видел такую пропасть, что преодолеть ее нечего было и думать. Студенты в большинстве своем боялись и не любили его, а он платил им за это иронически-отчужденным высокомерием. Это был человек среднего роста с продолговатым лицом, чисто выбритым и изрезанным глубокими морщинами; он то и дело привычным жестом запускал пальцы в копну седеющих курчавых волос. Голос у него был сухой, невыразительный, слова сходили с еле движущихся губ лишенные красок и интонации, но длинные тонкие пальцы при этом двигались грациозно, убедительно, словно придавая словам форму, какой не мог придать голос.

Вне учебных аудиторий, работая на ферме Футов или моргая при тусклом свете лампы за домашними занятиями в своей чердачной каморке без окон, Стоунер часто ловил себя на том, что перед мысленным взором вставала фигура этого человека. Уильяму не так-то просто было вообразить себе лицо кого бы то ни было из других преподавателей или вспомнить что-нибудь особенное о занятиях с ними; между тем образ Арчера Слоуна постоянно маячил на пороге сознания, в ушах то и дело звучал его сухой презрительный голос, которым он небрежно характеризовал то или иное место в “Беовульфе” или двустишие Чосера.

Стоунер обнаружил, что не может справляться с этим курсом так же, как с другими. Хотя он помнил авторов, произведения, даты и кто на кого повлиял, он едва не завалил первый экзамен; второй он сдал ненамного лучше. Он читал и перечитывал то, что задавали по лите-

ратуре, так усердно, что начали страдать другие дисциплины; и все равно слова, которые он читал, оставались словами на странице и он не видел пользы в том, чем занимался.

В аудитории он вдумывался в слова, которые произносил Арчер Слоун, словно бы ища под их плоским, сухим смыслом путеводную нить, способную привести куда надо; он горбился над столом, за которым плохо помещался, и так стискивал его края, что под коричневой загрубелой кожей пальцев белели костяшки; он хмурился от сосредоточенности, он кусал нижнюю губу. Но чем отчаянней старались Стоунер и его однокурсники на занятиях Арчера Слоуна, тем прочней делалась броня его презрения. И однажды это презрение переросло в злость – в злость, направленную на Уильяма Стоунера лично.

Группа прочла две пьесы Шекспира и заканчивала неделю его сонетами. Студенты нервничали, были озадачены и в какой-то мере даже напуганы тем напряжением, что нарастало между ними и сутулой фигурой за преподавательской кафедрой. Слоун прочел им вслух семьдесят третий сонет; его глаза кружили по аудитории, сомкнутые губы кривились в саркастической улыбке.

– И что же этот сонет означает? – отрывисто спро сил он и оглядел всех с мрачной безнадежностью, в ко торой сквозило некое удовлетворение. – Мистер Уилбер?

Нет ответа.

– Мистер Шмидт?

Кто-то кашлянул. Слоун уставился темными блестящими глазами на Стоунера.

– Мистер Стоунер, что означает этот сонет?

Стоунер сглотнул и попытался открыть рот.

– Это сонет, мистер Стоунер, – сухо проговорил Слоун, – поэтическое произведение из четырнадцати строк с определенной схемой рифмовки, которую, я уверен, вы помните. Он написан на английском языке, на котором вы, полагаю, некое количество лет изъясняетесь. Его автор – Уильям Шекспир, поэт давно умерший, но занимающий, несмотря на это, не маловажное место в иных из умов.

Он смотрел на Стоунера еще несколько секунд, а затем взгляд его затуманился и невидяще устремился за пределы аудитории. Не глядя в книгу, он прочел стихотворение еще раз; его голос смягчился и обрел глубину, как будто на короткое время этот человек слился со словами, со звуками, с ритмом:

То время года видишь ты во мне,
Когда один-другой багряный лист
От холода трепещет в вышине —
На хорах, где умолк веселый свист.

Во мне ты видишь тот вечерний час,
Когда поблек на западе закат
И купол неба, отнятый у нас,
Подобьем смерти – сумраком объят.

Во мне ты видишь блеск того огня,
Который гаснет в пепле прошлых дней,
И то, что жизнью было для меня,
Могилою становится моей.

Ты видишь всё. Но близостью конца

Теснее наши связаны сердца![1]

Он умолк; кто-то откашлялся. Слоун повторил последнее двустишие – его голос опять стал обычным, плоским:

Ты видишь всё. Но близостью конца Теснее наши связаны сердца.

Вновь уставив взгляд на Уильяма Стоунера, Слоун сухо произнес:

– Мистер Шекспир обращается к вам через три столетия. Вы его слышите, мистер Стоунер?

Уильям Стоунер почувствовал, что, вдохнув некоторое время назад, он так и сидит с полной грудью. Он осторожно выдохнул, отчетливо ощущая, как перемещается по телу одежда. Оглядел комнату, отведя глаза от Слоуна. Солнечный свет, косо проходя через окна, падал на лица студентов так, что они, казалось, светились изнутри в окружающем сумраке; один моргнул, и по щеке, где на юношеском пушке играло солнце, пробежала легкая тень. Стоунер вдруг понял, что его пальцы уже не сжимают так сильно крышку стола. Глядя на свои руки, он медленно повернул их; он подивился тому, какие смуглые у него ладони с тыльной стороны, как затейливо вправлены ногти в округлые кончики пальцев; ему казалось, он чувствует, как незримо движется кровь по крохотным венам и артериям, как она, беззащитно и нежно пульсируя, проходит от пальцев во все уголки тела. Слоун снова заговорил:

– Что он вам сообщает, мистер Стоунер? Что означает его сонет?

Стоунер медленно, неохотно поднял взгляд.

– Он означает… – произнес он и чуть приподнял руки со стола; ища глазами фигуру Арчера Слоуна, он почувствовал, что их чем-то заволакивает. – Он означает… – повторил Стоунер, но окончить фразу не смог.

Слоун посмотрел на него с любопытством. Потом коротко кивнул и бросил: “Занятие окончено”. Ни на кого не глядя, повернулся и вышел из аудитории.

Студенты, тихо ворча, переговариваясь и шаркая, потянулись в коридор, но Уильям Стоунер не обращал на них внимания. Оставшись один, он несколько минут сидел неподвижно и смотрел перед собой на узкие дощечки пола; лак с них был напрочь стерт беспокойными подошвами студентов прошлых лет, студентов, которых ему не суждено было ни увидеть, ни узнать. Сидя, он заставил свои собственные подошвы проехать по полу, услыхал сухой шорох кожи о дерево, почувствовал сквозь нее неровность настила. Потом встал и медленно вышел на улицу следом за остальными.

Холодок поздней осени давал себя знать, проникая сквозь одежду. Он огляделся вокруг, посмотрел на оголенные деревья, на изломы их сучьев на фоне бледного неба. Студенты, торопливо идя через кампус на занятия, задевали его локтями; он слышал их голоса и стук их каблуков по плитам дорожек, видел их лица, румяные от холода и немного опущенные из-за встречного ветра. Он глядел на них с любопытством, как в первый раз, и чувствовал себя очень далеким от них и в то же время очень близким. Он держал это чувство при себе, пока торопился на следующее занятие, и держал его при себе всю лекцию по химии почв, слушая монотонный голос профессора и записывая за ним в тетрадку то, что надлежало потом вызубрить, хотя зубрежка уже в те минуты становилась ему чужда.

Во втором семестре второго курса Уильям Стоунер отказался от базовых научных курсов и прекратил учебу в сельскохозяйственном колледже; вместо этого он записался на вводные курсы философии и древней истории и на два курса английской литературы. Летом, когда он опять вернулся на ферму помогать отцу, он о своих университетских делах помалкивал.

---

[1] Перевод С. Маршака. *(Здесь и далее – прим. перев.)*

Когда он стал намного старше, он вспоминал последние свои два года перед получением диплома бакалавра как нереальное время, словно принадлежавшее кому-то другому, как время, которое не шло плавно, к чему он привык, а то едва тянулось, то стремительно неслось. Один его отрезок накладывался на другой, не сливаясь с ним при этом, а оставаясь отъединенным, и у Стоунера возникало ощущение, будто он изъят из времени и смотрит, как оно движется перед ним подобно громадной, неравномерно вращаемой диораме.

Он стал обращать на себя внимание так, как никогда не обращал раньше. Иногда смотрел на себя в зеркало, на длинное лицо с копной сухих темно-русых волос, и трогал свои острые скулы; смотрел на худые запястья, далеко выступавшие из рукавов, и думал, так ли он нелеп на взгляд посторонних, как на свой собственный.

У него не было планов на будущее, и он ни с кем не говорил о своей неуверенности. Продолжал работать на Футов за кров и стол, но уже не так много, как в первые два года. На три часа каждый будний день после обеда и на полдня в выходные он отдавал себя в распоряжение Джиму и Серине Фут; остальное же время считал своим собственным.

Часть этого времени Стоунер проводил в своей каморке под крышей у Футов, но при любой возможности он после учебных занятий и после того, как выполнял дневную работу у хозяев, возвращался в университет. Иногда вечерами бродил по длинному открытому прямоугольнику кампуса среди гуляющих и тихо переговаривающихся парочек; хотя он ни с кем из встречных не был знаком и ни с кем не перекидывался даже словом, он ощущал с ними родство. Порой стоял посреди университетской территории, глядя на пять громадных колонн, поднимавшихся в темное небо из прохладной травы перед Джесси-Холлом; он знал, что эти колонны остались от прежнего главного здания университета, много лет назад уничтоженного пожаром. Гладкие и чистые, отсвечивающие под луной тусклым серебром, они казались ему воплощением жизненного пути, который он выбрал, как храм может служить воплощением веры.

В университетской библиотеке он ходил среди стеллажей, где стояли тысячи книг, и вдыхал, как волнующий аромат курений, затхлый запах кожи, коленкора и старой бумаги. Иногда останавливался, снимал с полки том и держал какое-то время, чувствуя легкий трепет в больших руках, еще не вполне привычных к корешкам, обложкам и податливым страницам. Потом листал книгу, читал абзац тут, абзац там, осторожно переворачивая страницы загрубелыми непослушными пальцами, словно боясь порвать, повредить то, до чего стоило таких трудов добраться.

Друзей у него не было, и впервые в жизни он осознал, что одинок. Порой, сидя поздно вечером у себя в комнате, он поднимал глаза от книги и переводил взгляд в темный угол, где тусклый мигающий свет керосиновой лампы боролся с тенью. Если он смотрел долго, пристально, то мрак начинал светиться изнутри, и свечение это принимало призрачную форму того, о чем он читал. И, как в тот день в аудитории, когда к нему обратился Арчер Слоун, он чувствовал, что находится вне времени. Прошлое, сгущаясь, выступало из тьмы, где оно до поры таилось, умершие оживали у него на глазах; прошлое и умершие наплывали на настоящее, на мир живых, и на недолгую, но яркую минуту у него возникало видение – видение и ощущение некой богатой, плотной среды, куда он помещен и которую не может и не хочет покинуть. Перед ним шествовали Тристан и Изольда; в пылающем мраке кружились Паоло и Франческа; из мглы появлялись Елена и красавец Парис, в их лицах сквозила горечь, ибо они знали, чем все кончилось. И он соприкасался с ними так, как не мог соприкасаться с однокашниками, сидевшими с ним в аудиториях большого университета в Колумбии, штат Миссури, дышавшими, не обращая ни на что внимания, воздухом Среднего Запада.

За год он достаточно освоил греческий и латынь, чтобы читать простые тексты; часто его глаза были красны и воспалены от напряжения и недосыпания. Бывало, он вспоминал себя, каким он был несколько лет назад, и его поражала эта странная фигура, тусклая и инертная,

как земля, что произвела ее на свет. Он думал о родителях, и они казались ему почти такими же странными, как их сын; он испытывал к ним жалость, смешанную с отдаленной любовью.

Однажды после занятий примерно в середине четвертого курса Арчер Слоун остановил его и попросил заглянуть к нему в кабинет.

Дело было зимой, и над кампусом, как часто бывает на Среднем Западе, плыл промозглый стелющийся туман. Даже сейчас, поздним утром, на тонких ветвях кизила блестел иней, и черные стебли ползучих растений, поднимавшиеся вдоль огромных колонн перед Джесси-Холлом, были сплошь в радужных кристаллах, вспыхивавших на фоне серости. Пальто у Стоунера было такое дряхлое и поношенное, что он, собираясь к Слоуну, решил его не надевать, несмотря на мороз. Он дрожал, торопливо идя по дорожке и поднимаясь по широкой каменной лестнице к дверям Джесси-Холла.

После наружного холода ему показалось внутри очень жарко. Серый уличный свет, проходя через окна и стеклянные двери по обе стороны вестибюля, падал на желтые плитки пола, делая их ярче всего вокруг; в полумгле тускло поблескивали большие дубовые колонны и обшитые панелями стены. По вестибюлю разносилось шарканье обуви, людские голоса приглушались его обширностью; неясно видимые фигуры перемещались медленно, сближались и расходились; в душном воздухе чувствовался запах олифы от стен и сырой запах шерстяной верхней одежды. Стоунер поднялся по гладкой мраморной лестнице на второй этаж, где находился кабинет Арчера Слоуна. Он постучал в закрытую дверь, услышал голос и вошел.

Кабинет был длинный и узкий, свет в него поступал через единственное окно в дальней стене. Полки, тесно заставленные книгами, доходили до высокого потолка. У окна был втиснут письменный стол, и за ним вполоборота, являя взору темный силуэт на фоне окна, сидел Арчер Слоун.

– Добрый день, мистер Стоунер, – сухо проговорил Слоун, привстав и показывая на обтянутый кожей стул перед ним.

Стоунер сел.

– Я проглядел ваши учебные результаты. – Сделав паузу, Слоун приподнял со стола папку и посмотрел на нее с отрешенной иронией. – Надеюсь, вы не будете мне пенять на мою любознательность.

Стоунер облизнул пересохшие губы и поерзал на стуле. Постарался сделать свои большие ладони как можно менее заметными.

– Нет, сэр, – сказал он хрипло. Слоун кивнул:

– Хорошо. Я замечаю, что вначале вы специализировались по сельскому хозяйству, а на втором курсе переключились на литературу. Это так?

– Да, сэр, – подтвердил Стоунер.

Слоун откинулся на стуле и перевел взгляд на высокий светлый прямоугольник узкого окна. Он постучал пальцами о пальцы и опять повернулся к молодому человеку, сидевшему перед ним в напряженной позе.

– Формальна я цель нашей сегодняшней встречи – сообщить вам, что вы должны подать официальное заявление о замене одной учебной программы на другую. Зайдите к секретарю, это дело пяти минут. Зайдете?

– Да, сэр.

– Но возможно, вы догадались, что настоящая причина моего приглашения иная. Вы не против, если я немного поинтересуюсь вашими планами на будущее?

– Нет, сэр, – сказал Стоунер. Он смотрел на свои руки, на крепко сплетенные пальцы.

Слоун дотронулся до папки, которая лежала на столе.

– Когда вы поступили в университет, вы были несколько старше, чем большинство первокурсников. Двадцать лет без малого, если я не ошибаюсь.

– Да, сэр, – подтвердил Стоунер.

– И в то время вы намеревались пройти программу, предлагаемую сельскохозяйственным колледжем?

– Да, сэр.

Слоун откинулся на спинку стула и уставил взор в высокий тусклый потолок. Потом внезапно спросил:

– А какие у вас планы сейчас?

Стоунер молчал. Он не строил планов, не хотел строить. Наконец произнес с ноткой недовольства в голосе:

– Не знаю. Я мало об этом думал.

– Вы хотите поскорей дожить до того дня, когда покинете эти монастырские стены и выйдете в так называемый широкий мир?

Стоунер усмехнулся, несмотря на замешательство.

– Нет, сэр.

Слоун похлопал папкой по столу.

– Из этих бумаг явствует, что вы родились в сельской местности. Ваши родители – фермеры?

Стоунер кивнул.

– И вы, когда получите диплом бакалавра, намереваетесь вернуться к ним на ферму?

– Нет, сэр, – сказал Стоунер, удивив самого себя категоричностью тона. Он был поражен решением, которое только что внезапно принял.

Слоун кивнул.

– Вполне естественно, что серьезный студент, изучающий литературу, *может* счесть свои навыки не вполне подходящими для аграрных трудов.

– Я туда не вернусь, – проговорил Стоунер, точно не слышал собеседника. – Не знаю точно, что буду делать. – Посмотрел на свои руки и сказал, обращаясь к ним: – Я не совсем еще осознал, что так скоро кончаю, что в конце года выйду из университета.

– Но абсолютной необходимости, чтобы вы покинули университет, конечно же нет. У вас, как я пони маю, нет независимых средств к существованию?

Стоунер покачал головой.

– Ваши учебные дела обстоят просто превосходно. За исключением… – Слоун поднял брови и улыбнулся. – За исключением обзорного курса английской литературы на втором году обучения, у вас “отлично” по всем предметам, связанным с английским, и не ниже чем “хорошо” по всем остальным. Если бы вы, получив диплом бакалавра, смогли содержать себя еще примерно год, вы, я уверен, сделали бы все необходимое, чтобы стать магистром гуманитарных наук, после чего, по всей вероятности, смогли бы зарабатывать преподаванием и готовиться к защите докторской диссертации. Если, конечно, такой путь вас прельщает.

Стоунер подался назад.

– Что вы имеете в виду? – спросил он и услышал в собственном голосе нечто похожее на страх.

Слоун наклонился к нему так, что их лица сблизились; Стоунер увидел, что морщины на его длинном худом лице немного разгладились, а в голосе пожилого человека, когда он заговорил, вместо сухой насмешливости послышалась ласковая, незащищенная искренность.

– Разве вы не понимаете сами, мистер Стоунер? – спросил Слоун. – Еще не разобрались в себе? Ведь вам прямой путь в преподаватели.

Внезапно Слоун точно отъехал куда-то, и стены его кабинета тоже отдалились. Стоунеру показалось, что он висит в пустоте, и он услышал свой вопрос:

– Вы уверены?

– Уверен, – мягко сказал Слоун.

– Откуда это видно? Как вы можете быть уверены?

– Это любовь, мистер Стоунер, – лучезарно сообщил ему Слоун. – Я вижу любовь. Вот как просто все объясняется.

Да, все объяснялось просто. Краем сознания он отметил, что кивнул Слоуну и сказал что-то малосущественное. Потом он вышел из кабинета. Его губы подрагивали, кончики пальцев онемели; он шел как во сне, но при этом чутко воспринимал окружающее. Случайно коснулся полированной деревянной стены в коридоре и мельком отметил, что успел почувствовать тепло дерева и его возраст; медленно спускаясь по лестнице, он с интересом смотрел вниз, на холодный гладкий мрамор с прожилками, на котором, чудилось ему, ногам было чуть-чуть скользко. В вестибюле голоса студентов звучали поверх общего приглушенного гула отчетливо и отдельно, их лица подплывали близко, они были чужими и вместе с тем знакомыми. Он вышел из Джесси-Холла все тем же поздним утром, но серость, казалось, больше не давила на кампус; она побуждала глаза смотреть вдаль и ввысь, в небо, словно заключавшее в себе новые возможности, для которых он не мог подобрать слов.

В первые дни июня 1914 года Уильям Стоунер, наряду с другими шестьюдесятью молодыми людьми и несколькими молодыми женщинами, получил диплом бакалавра гуманитарных наук в университете штата Миссури.

Чтобы присутствовать на церемонии, его родители в одолженной соседями двухместной коляске, которую везла их старая мышастая кобыла, отправились в путь накануне вечером и, проделав сорок с лишним миль, подъехали к дому Футов вскоре после рассвета, оцепеневшие от бессонной ночи. Стоунер спустился во двор встретить их. Они стояли бок о бок, озаренные бодрящим утренним светом, и ждали, когда он подойдет.

Стоунер и его отец подали друг другу руки и коротко тряхнули один раз, не глядя друг на друга.

– Ну, здравствуй, – сказал отец. Мать кивнула:

– Вот приехали поглядеть, как тебя выпускают. Несколько секунд сын молчал. Потом сказал:

– Зайдите в дом, позавтракайте.

В кухне они были одни: после того, как Стоунер поселился у Футов, хозяева завели привычку спать допоздна. Но ни за завтраком, ни когда родители покончили с едой, он не мог заставить себя сказать им, что его планы изменились, что он не собирается возвращаться к ним на ферму. Пару раз открывал было рот, но осекался, глядя на обветренные смуглые лица, которые новая одежда делала какими-то беззащитными, и помня о долгом пути, что мать и отец проделали ночью, и о годах, что они прожили одни, ожидая его возвращения. Он напряженно сидел с ними, пока они не допили кофе и в кухню не пришли проснувшиеся Футы. Тогда он сказал родителям, что ему надо в университет заранее и что увидеться можно будет позже, на выпускном акте.

Он бродил по кампусу, нося с собой черную мантию и шапочку, взятые напрокат; носить было тяжело и неудобно, но оставить было негде. Он думал, чтó скажет родителям, и, впервые осознав всю бесповоротность своего решения, чуть ли не пожалел о нем. Он сомневался, что справится с задачей, которую так безрассудно себе поставил, и ощущал притяжение мира, с которым собирался распрощаться. Он горевал о своей утрате и об утрате, которую будут переживать родители, но, даже горюя, чувствовал, что отдаляется от них.

Это ощущение утраты он пронес через выпускную церемонию; когда выкликнули его имя и он, пройдя по возвышению, взял свиток из рук человека, у которого большая часть лица была скрыта за мягкой седой бородой, ему показалось, что это происходит не с ним, а с кем-то другим, и полученный пергаментный свиток не имел для него никакого смысла. На уме у него были только мать и отец, смущенно и скованно сидящие в зале среди многолюдья.

После церемонии он вернулся с ними к Футам, у которых они должны были переночевать, чтобы с рассветом отправиться домой.

Был поздний вечер, они сидели у Футов в общей комнате. Джим и Серина побыли с гостями сколько-то времени. Джим и мать Стоунера подолгу молчали, изредка вспоминали какого-нибудь общего родственника. Отец сидел на стуле расставив ноги, он чуть наклонился вперед и обхватил широкими ладонями коленные чашечки. Наконец Футы переглянулись, зевнули и сказали, что время позднее. Они отправились в спальню, и сын остался наедине с родителями.

Опять стало тихо. Родители смотрели прямо перед собой, в ту же сторону, куда ложились тени от их тел, и лишь время от времени поглядывали на сына, как будто не хотели тревожить его в новом качестве.

Спустя минуту-другую Уильям Стоунер подался вперед и заговорил громче и с большим нажимом, чем намеревался.

– Мне надо было раньше дать вам знать. Прошлым летом или хотя бы сегодня утром.

Освещенные лампой, неподвижные лица матери и отца ничего не выражали.

– Я вот что хочу сказать: я не вернусь с вами на ферму. Родители не пошевелились. Отец проговорил:

– Тебе дела тут надо доделать, так мы утром уедем, а ты приезжай, когда сможешь.

Стоунер потер лицо ладонью.

– Нет, ты меня не понял. Я хотел вам сказать, что не вернусь на ферму совсем.

Отец крепче сжал свои колени и откинулся назад.

– Ты в какую-то историю здесь попал? – спросил он.

Стоунер улыбнулся:

– Да нет, что ты. Я собираюсь еще год здесь учиться, а может быть, два или три.

Отец непонимающе покачал головой.

– Ты же все получил сегодня. А мне тогда консультант говорил, в сельскохозяйственном учатся четыре года.

Стоунер попытался объяснить отцу, какие у него планы, попытался пробудить в нем его собственное представление о цели, о жизненном предназначении. Говоря, он слушал свои слова так, будто они шли из уст другого человека, и смотрел на лицо отца, которое под воздействием этих слов походило на камень под ударами кулака. Кончив, он сидел, стиснув ладони между колен и склонив голову. Он слушал тишину, стоявшую в комнате.

Наконец отец пошевелился на стуле. Стоунер поднял глаза. Лица родителей были обращены к нему; он готов был закричать, взмолиться.

– Не знаю, – сказал отец. Голос был хриплый, усталый. – Я и думать не думал, что так повернется. Посылал тебя сюда, хотел для тебя как лучше. Мы с твоей матерью всегда думали, как сделать, чтоб тебе лучше было.

– Я это знаю, – сказал Стоунер. Он не мог больше на них смотреть. – Вы справитесь без меня? Я приеду попозже этим летом, помогу. Я…

– Если ты решил, что тебе надо дальше тут учить твои науки, оставайся и учи. Мы с мамой управимся.

Мать сидела к нему лицом, но не видела его. Ее глаза были зажмурены; она тяжело дышала, лицо перекосило точно от боли, стиснутые кулаки были прижаты к щекам. С изумлением Стоунер понял, что она плачет, плачет горько и беззвучно, испытывая неловкость и стыд человека, редко позволяющего себе раскисать. Он смотрел на нее несколько секунд, потом с усилием встал со стула и вышел из комнаты. Поднялся по узкой лесенке в свою каморку и долго лежал на кровати с открытыми глазами, глядя в темный потолок.

Глава II

Через две недели после того, как Стоунер получил диплом бакалавра гуманитарных наук, сербский националист убил в Сараеве эрцгерцога Франца Фердинанда, и не успело пройти лето, как вся Европа уже воевала. Для аспирантов и студентов постарше эта тема представляла постоянный и немалый интерес; они задавались вопросом, какую роль в событиях суждено сыграть Америке, и нервы приятно щекотала неясность их собственного будущего.

Но Уильяму Стоунеру его будущее рисовалось ясным, определенным и неизменным. Рисовалось не потоком событий, перемен и возможностей, а раскинувшейся перед ним территорией, ожидающей его исследовательского внимания. Он представлял его себе как огромную университетскую библиотеку; к ней там или тут могут пристроить новое крыло, ее могут пополнить новыми книгами, из нее могут изъять некоторые старые, но ее суть, ее природа остается при этом той же, какой была. Он связывал свое будущее с учебным заведением, которому вверил себя и которое пока еще не слишком хорошо понимал; он предвидел, что это будущее его изменит, притом само будущее в его воображении представало инструментом перемен, а не их объектом.

В конце лета, перед самым началом осеннего семестра, он побывал у родителей. Хотел помочь с летними работами, но оказалось, что отец нанял батрака-негра, который трудился с безмолвным, сосредоточенным неистовством, успевая в одиночку за день почти столько же, сколько Уильям и его отец успевали в прошлом вдвоем. Родители были рады сыну и, похоже, не держали на него обиды из-за его решения. Но он увидел, что ему нечего им сказать; он понял, что мать с отцом уже становятся чужими ему людьми, и почувствовал, что из-за этого любит их сильнее. Он вернулся в Колумбию на неделю раньше, чем намеревался.

Он стал досадовать на то, что приходится тратить время на работу у Футов. Начав учебу поздно, он испытывал настоятельную потребность учиться быстрее. Иногда на него, погруженного в книги, накатывало сознание, что он почти ничего не знает, почти ничего не читал; и путь к желанному покою преграждала мысль, что у него слишком мало времени в жизни на все это чтение и на всю эту учебу.

К весне 1915 года он вчерне окончил магистерскую диссертацию и за лето отшлифовал ее. Это было просодическое исследование одного из “Кентерберийских рассказов” Чосера. Еще до конца лета Футы сказали ему, что его услуги на ферме им больше не нужны.

Он ожидал этого и в каком-то смысле был этому рад; но в первый момент испытал приступ паники. Словно последняя нить, связывавшая его с прежней жизнью, была разорвана. Последние летние недели он прожил на отцовской ферме, дорабатывая диссертацию. Арчер Слоун устроил ему преподавание английского с осени в двух группах первокурсников, и одновременно с этим он должен был начать работу над докторской диссертацией. Годовое жалованье – четыреста долларов. Он забрал свои вещи из крохотной каморки под крышей у Футов, где прожил пять лет, и снял еще более тесную комнатушку недалеко от университета.

Хотя ему предстояло преподавать всего-навсего основы грамматики и письменной практики рядовым новичкам, задача вызвала в нем прилив энтузиазма; он остро ощущал важность этой работы. Последнюю неделю перед осенним семестром он посвятил планированию курса, и перед ним открылись те возможности, что открываются в результате сосредоточенных усилий, в борьбе с материалом; он почувствовал логику грамматики и начал понимать, как она развивалась, пронизывая собой язык и поддерживая человеческую мысль. Разрабатывая для студентов простые задания по написанию связных текстов, он видел в них начатки прозы со всеми ее красотами, и он надеялся, что сможет заразить студентов своим воодушевлением.

Но на первых занятиях, когда он после рутинных перекличек и сообщений об учебных планах обращался к предмету как таковому, оказывалось, что он не может передать студен-

там свое ощущение чуда, что оно остается запертым внутри него. Порой, когда он говорил в аудитории, у него возникало чувство, что он стоит вне собственного тела и видит незнакомца, выступающего перед группой людей, собранных против их воли; он слышал свой собственный безжизненный голос, излагающий подготовленный материал, и ничто из его энтузиазма сквозь это слово-говорение не пробивалось.

Иное дело на аспирантских занятиях, где он сам был учащимся: там он обретал себя, расправлял крылья. Там он был способен снова испытать ощущение открытия, как в тот день, когда к нему в аудитории обратился Арчер Слоун и он в одно мгновение стал другим человеком. Когда он прилагал к материалу умственные усилия, когда он, изучая литературные произведения и стараясь вникнуть в их суть, пытался тягаться с мощью словесности, он чувствовал, что все время меняется внутренне; и, чувствуя это, он переходил в уме от себя к окружающему миру и проникался мыслью, что прочитанная им вещь – стихотворение Мильтона, эссе Бэкона или пьеса Бена Джонсона – изменила мир, давший автору тему и основу для творчества, изменила благодаря своей взаимозависимости с миром. Он редко говорил на этих занятиях, и его письменные работы редко его удовлетворяли. Как и лекции, которые он читал первокурсникам, они не передавали того, что он знал в глубине души.

У него возникли приятельские отношения с несколькими аспирантами, которые, подобно ему, преподавали на временной основе. С двумя из них – с Дэвидом Мастерсом и Гордоном Финчем – он подружился.

Мастерс был худощавый темноволосый молодой человек с острым языком и мягким взглядом. Как и Стоунер, который был на год старше, он только начал учиться в аспирантуре. Среди преподавателей и коллег-аспирантов он слыл человеком заносчивым и нахальным, и все сходились на том, что у него будут трудности с получением докторской степени. Стоунер тем не менее считал его самой яркой личностью из всех, кого он знал, и уступал ему первенство без зависти и обид.

Гордон Финч, рослый блондин, в свои двадцать три года уже проявлял склонность к полноте. Диплом бакалавра он получил в коммерческом колледже в Сент-Луисе, а здесь, в университете Миссури, сделал несколько попыток повысить свой академический статус на разных кафедрах: экономики, истории, инженерного дела. По литературе он решил специализироваться главным образом потому, что в последнюю минуту сумел заполучить небольшую преподавательскую нагрузку на кафедре английского языка. Он быстро показал себя наименее заинтересованным из всех аспирантов кафедры. Но он нравился первокурсникам и хорошо ладил как с опытными преподавателями, так и с администрацией.

Стоунер, Мастерс и Финч завели привычку по пятницам вечерами сидеть втроем в маленьком кабачке в центре города, пить пиво из высоких стаканов и разговаривать допоздна. Хотя эти вечера были для Стоунера единственным временем, когда он общался с людьми просто удовольствия ради, его нередко посещали недоуменные мысли по поводу этой дружбы. Совсем уж близкой ее нельзя было назвать; три молодых человека хорошо ладили между собой, но сокровенными мыслями не делились и, кроме этих еженедельных вечеров, виделись редко.

Ни один из них ни разу не заводил разговора об их отношениях. Стоунер знал, что Гордону Финчу это и в голову не приходило, но подозревал, что Дэвид Мастерс задавался кое-какими вопросами на этот счет. Как-то раз поздним вечером они сидели за столом в самой глубине тускло освещенного кабачка; Стоунер и Мастерс рассуждали о своем преподавании и учебе с неловкой шутливостью, свойственной очень серьезным людям. Посреди беседы Мастерс, держа очищенное крутое яйцо из бесплатного университетского ланча на весу, как хрустальный шар ясновидящего, вдруг спросил:

– Господа, вы размышляли когда-нибудь о том, какова истинная суть университета? Мистер Стоунер? Мистер Финч?

Улыбаясь, оба покачали головой.

– Конечно же не размышляли. Наш Стоунер, мне думается, видит в нем огромное хранилище, подобное библиотеке или публичному дому, куда люди приходят по своему желанию за тем, чего им недостает, где все трудятся сообща, как пчелы в улье. Истина, Добро, Красота. Все это тут, за углом, в следующем проходе; все это найдется в следующей книге, в той, что ты еще не прочел, или на следующем стел лаже, до которого ты еще не добрался. Но доберешься в один прекрасный день. И когда это случится… когда это случится…

Он смотрел на яйцо еще секунду-другую, а потом откусил от него большой кусок и повернулся к Стоунеру, энергично жуя и блестя темными глазами.

Стоунер смущенно улыбнулся, а Финч громко расхохотался и хлопнул рукой по столу:

– Как он тебя, Билл, а? Как он тебя!

Мастерс пожевал еще чуть-чуть, проглотил и перевел взгляд на Финча.

– А ты, Финч? Какая у тебя идея? – Он поднял руку. – Ты, конечно, скажешь, что не думал об этом. Но ты думал, думал. Под этой маской грубоватой сердечности таится простой практический ум. Ты смотришь на университет как на источник пользы. Пользы для мира в целом, конечно, но, по счастливой случайности, и для тебя лично. Ты смотришь на него как на этакий духовный рыбий жир, который ты прописываешь маленьким сволочам каждую осень, чтобы провести их через очередную зиму; ты добродушный старый доктор, который гладит их по головке и не за бывает класть в карман плату за визит.

Финч снова расхохотался и покачал головой:

– Ну, Дэйв, сегодня ты в ударе…

Мастерс положил в рот остаток яйца, удовлетворенно его сжевал и запил большим глотком пива.

– Но вы оба ошибаетесь, – сказал он. – Это ни то ни другое, это приют или – как теперь говорят? – пансионат. Для немощных, престарелых, неудовлетворенных, для всяческих недотеп. Если взглянуть на нашу троицу – *мы* и есть университет. Чужой человек не сообразит, что между нами общего, но *мы-то* знаем, разве не так? Хорошо знаем.

– Что, Дэйв? – со смехом спросил Финч.

Увлекшись тем, о чем завел разговор, Мастерс с энтузиазмом подался вперед над столом.

– Для начала возьмем тебя, Финч. При всем моем к тебе уважении скажу, что ты недотепа. Как ты понимаешь сам, ты не великого ума человек, но дело скорей не в этом.

– Да ладно тебе, – сказал Финч, все еще смеясь.

– Ты достаточно умен – *как раз настолько* умен, – чтобы понимать, что́ произошло бы с тобой в большом мире. Там у тебя не было бы шансов, и ты это знаешь. Хотя ты способен быть сукиным сыном, ты не так безжалостен, чтобы быть им последовательно. Хотя ты не самый честный человек, какого я видел в жизни, тебя не назовешь образцом героической бесчестности. С одной стороны, ты способен к труду, но при этом ленив как раз настолько, чтобы у тебя не получалось трудиться так, как требует мир. Однако, с другой стороны, ты недостаточно ленив, чтобы навязать миру ощущение твоей важности. И ты не везунчик, по большому счету. Тебя не окружает никакая аура, и физиономия у тебя озадаченная. В большом мире ты раз за разом оказывался бы на подступах к успеху и раз за разом терпел бы крах. Так что ты, считай, избран, помилован; провидение, чье чувство юмора всегда меня забавляло, вырвало тебя из пасти жестокого мира и поместило здесь, в безопасности, среди твоих собратьев.

По-прежнему улыбаясь шутейно-зловредной улыбкой, он повернулся к Стоунеру.

– Не думай, что я тебя пощажу, мой друг. Никоим образом. Кто ты такой? Простодушный сын земли, коим себя считаешь? Ничего подобного. Ты тоже у нас из немощных: мечтатель, безумец в мире, который еще безумней тебя, ты наш Дон Кихот, скачущий под голубым небом Среднего Запада, правда, без своего Санчо. Ума у тебя хватает – во всяком случае, ты умней, чем наш общий друг. Но в тебе есть изъян, скрытая немощь. Тебе кажется, *здесь* у нас есть что-то ценное, что стоит поискать. Большой мир тебя довольно быстро образумил бы. Там у тебя,

как и у нашего друга, не было бы шансов; да ты и не стал бы сражаться с миром. Ты дал бы ему разжевать тебя и выплюнуть, а потом лежал бы и недоумевал, из-за чего так получилось. Потому что ты всегда ожидал бы от мира чего-то несбыточного, такого, чем он вовсе не желает становиться. В хлопчатнике живет долгоносик, в фасоли червяк, на кукурузе гусеница. Ты ни мириться не мог бы со всем этим, ни воевать; потому что ты слишком слаб и слишком силен. В большом мире тебе некуда было бы податься.

– А ты-то сам, – сказал Финч. – Про себя расскажи.

– Я-то… – Мастерс откинулся назад. – Я такой же, как вы. Хуже, если на то пошло. Я слишком умен для мира и не умею держать язык за зубами, а это болезнь, от которой нет лекарства. Поэтому я должен быть заперт в таком месте, где моя безответственность никому не повредит. – Он опять наклонился к ним и улыбнулся. – Каждый из нас – бедный Том, которому холодно.

– Из “Короля Лира”, – вдумчиво заметил Стоунер.

– Акт третий, сцена четвертая, – уточнил Мастерс. – И вот провидение, или общество, или судьба, как хотите, так и назовите, предоставило нам этот шалаш, чтобы мы могли укрыться в бурю. Это для нас построен университет, для обездоленных мира сего; он существует не ради студентов, не ради бескорыстного поиска знаний, не ради всего того, о чем говорят. Мы творим доводы, оправдывающие его существование, и некоторые из них, какие попроще, какие понятны большому миру, берем на вооружение; но это всего лишь защитная окраска. Как церковь в Средние века, которая ни в грош не ставила мирян и даже Господа Бога, мы притворяемся, чтобы выжить. И мы выживем – как же иначе-то?

Финч восхищенно покачал головой:

– В каком свете ты нас выставляешь, Дэйв…

– В неважном, – сказал Мастерс. – Но, как бы плохи мы ни были, мы все-таки лучше тех, кто барахтается снаружи, в мирской грязи, лучше всей этой несчастной сволочи. Мы никому не причиняем вреда, мы говорим, что хотим, и получаем за это плату; если это не триумф основополагающих добродетелей, то нечто, черт возьми, довольно близкое к нему.

Мастерс снова откинулся на спинку стула, уже безразличный на вид к только что высказанному. Гордон Финч откашлялся.

– Ну, в общем… – заговорил он серьезным тоном. – Может, в твоих словах что-то и есть, Дэйв. Но по-моему, ты слишком далеко заходишь. Слишком далеко.

Стоунер и Мастерс улыбнулись друг другу, и больше в тот вечер на эту тему разговор не шел. Но Стоунер потом годы и годы нет-нет да вспоминал услышанное от Мастерса; и хотя нельзя сказать, что Дэйв открыл ему глаза на университет, с которым Стоунер связал свою жизнь, прозвучавшее прояснило ему кое-что в его отношениях с двумя друзьями и дало ему почувствовать, сколько разъедающей невинной горечи может содержать в себе молодая душа.

Седьмого мая 1915 года немецкая подводная лодка потопила британский лайнер “Лузитания”, в числе пассажиров которого было сто четырнадцать американцев; к концу 1916 года Германия уже вовсю вела подводную войну, и отношения между ней и Соединенными Штатами неуклонно ухудшались. В феврале 1917 года президент Вильсон разорвал дипломатические отношения. Шестого апреля Конгресс объявил, что Соединенные Штаты находятся с Германией в состоянии войны.

И сразу тысячи молодых людей по всей стране, словно испытывая облегчение от того, что период неизвестности кончился, принялись осаждать вербовочные пункты, наскоро оборудованные несколькими неделями раньше. А до них сотни их сверстников, не в силах дожидаться американского вмешательства, уже в 1915 году записались в Королевские канадские вооруженные силы или влились в европейские союзнические армии в качестве водителей санитарных машин. Так поступили несколько старшекурсников университета Миссури, и хотя Уильям

Стоунер ни с кем из них знаком не был, он все чаще слышал их легендарные имена в последние месяцы и недели перед тем днем, что неизбежно, как все понимали, должен был наступить.

Войну объявили в пятницу, и хотя занятия на следующей неделе никто не отменял, мало кто из студентов и преподавателей приходил в аудитории даже ради проформы. Люди толклись в вестибюлях и коридорах, собирались небольшими группами, переговаривались вполголоса. Напряженная тишина нет-нет да сменялась буйством, граничившим с насилием; два раза вспыхивали общие антигерманские демонстрации, когда студенты бессвязно кричали и размахивали американскими флагами. А одна короткая демонстрация была направлена против определенного лица – бородатого старого профессора-германиста, который родился в Мюнхене и учился в Берлинском университете. Когда к профессору подступила кучка злых раскрасневшихся юнцов, он, ошеломленно моргая, протянул к ним тонкие дрожащие руки – и они разошлись в хмуром смятении.

Стоунер в те первые дни после объявления войны тоже испытывал смятение, но смятение совсем иного свойства, чем большая часть кампуса. Сколько он в годы войны ни разговаривал о ней с аспирантами и преподавателями, он так и не поверил в нее до конца; и сейчас, когда она явилась к нему, явилась ко всем, он обнаружил внутри себя обширный пласт безразличия. Он досадовал на то расстройство, что война внесла в жизнь университета, но он не находил в себе пылких патриотических чувств и не мог возбудить в себе ненависти к немцам.

А вокруг него эта ненависть разгоралась. Однажды Стоунер, идя по коридору, увидел Гордона Финча в обществе преподавателей постарше; лицо Финча перекосилось, и он назвал немцев “гуннами” с такой гримасой, словно плюнул на пол. Позднее, когда он подошел к Стоунеру в большой рабочей комнате, которую делили между собой полдюжины молодых педагогов, настроение Финча уже было другим; лихорадочно веселый, он хлопнул Стоунера по плечу.

– Чтобы я остался в стороне, чтобы не всыпал им самолично? – быстро проговорил он. Его круглое лицо покрывала маслянистая пленка пота, светлые жидкие волосы лежали на черепе длинными прядями. – Нет, сэр. Я записываюсь. Уже поговорил со стариком Слоуном, и он сказал: действуй. Завтра еду в Сент-Луис вербоваться. – На мгновение он сумел соорудить на лице подобие суровой серьезности. – Каждый из нас должен внести свой вклад. – Потом он улыбнулся и опять хлопнул Стоунера по плечу. – Давай и ты со мной, Билл!

– Я? – спросил Стоунер и, точно не веря своим ушам, повторил: – Я?

– Ты, ты, – подтвердил Финч со смехом. – Все идут в армию. Я только что говорил с Дэйвом – он вместе со мной едет записываться.

Стоунер ошеломленно покрутил головой.

– Дэйв Мастерс?

– Он самый. Нашего Дэйва в разговорах иногда заносит, но, когда доходит до дела, он такой же, как мы все; он внесет свой вклад. А ты, Билл, внесешь свой. – Финч шутливо ударил его кулаком по руке. – Внесешь, Билл.

Стоунер ответил не сразу.

– Я еще не думал об этом, – сказал он. – Слишком быстро все произошло. Мне надо поговорить со Слоуном. Я дам тебе знать.

– Само собой, – отозвался Финч. – Ты внесешь свой вклад. – От полноты чувств его голос стал густым, рокочущим. – Мы все должны сплотиться сейчас, Билл; мы все должны сплотиться.

Стоунер, оставив Финча в комнате, вышел, но направился он не к Арчеру Слоуну. Он стал ходить по кампусу и справляться о Дэвиде Мастерсе. В конце концов нашел его в одном из отсеков библиотеки; Мастерс сидел там в одиночестве, курил трубку и смотрел на книжные полки.

Стоунер сел за письменный стол напротив него. На вопрос о его решении пойти добровольцем Мастерс ответил:

– Да, я иду. А что? Почему нет?

Но Стоунер хотел знать, почему да, и Мастерс сказал ему:

– Ты неплохо меня знаешь, Билл. До немцев мне нет ровно никакого дела. И, если уж на то пошло, до американцев, наверно, тоже. – Он выбил трубку на пол и растер пепел подошвой. – Мне думается, я потому иду, что пойду я или нет – все равно. И почему не про швырнуться по миру развлечения ради, прежде чем от решиться от него окончательно в этих стенах, где всем нам суждено медленное угасание?

Стоунер кивнул, принимая сказанное Мастерсом – принимая, но не понимая. Он сказал:

– Гордон хочет, чтобы я тоже записался. Мастерс улыбнулся.

– Гордон впервые в жизни получил возможность испытать прилив доблести; и разумеется, ему надо, чтобы все остальные стояли с ним бок о бок и поддерживали в нем решимость. А что? Почему нет? Записывайся вместе с нами. Тебе, может быть, и полезно будет взглянуть на мир. – Он помолчал, испытующе глядя на Стоунера. – Но, если надумаешь записаться, умоляю, не делай этого во имя Бога, родины или нашей любимой альма-матер. Сделай это ради себя.

Стоунер задумался. Потом сказал:

– Я поговорю со Слоуном и дам тебе знать.

Он не знал, чего ему ждать от Арчера Слоуна, и был готов, казалось ему, к любому ответу; тем не менее Слоун, когда он пришел в его узкий, заставленный книгами кабинет сообщить о своем не вполне еще принятом решении, удивил его.

Слоун, который всегда был с ним сдержанно вежлив и ироничен, вышел из себя. Его длинное худое лицо побагровело, складки по обе стороны рта углубились от злости; стиснув кулаки, он привстал со стула и подался к Стоунеру. Потом опустился обратно, заставил себя разжать кулаки и положил ладони на стол пальцами врозь. Пальцы его дрожали, но заговорил он твердым, жестким голосом:

– Прошу простить мне эту внезапную вспышку. Дело в том, что за последние несколько дней я потерял почти треть кафедры, и на то, что я найду этим людям замену, нет никакой надежды. Я не на вас сержусь, а на… – Он отвернулся от Стоунера и по смотрел в высокое окно в дальнем конце кабинета. Свет резко обозначил морщины на его лице и углу бил тени под глазами, придав ему на минуту вид больного старика. – Я родился в восемьсот шести десятом, перед самой войной Севера и Юга. Войну я, конечно, не помню, был слишком мал. Отца тоже не помню: он погиб под Шайло в первый год боевых действий. – Он бросил быстрый взгляд на Стоунера. – Но я видел и вижу, к чему привела война. Она не только губит тысячи или сотни тысяч молодых мужчин. Она губит что-то в самом народе, и восстановить это потом невозможно. И если войн, через которые прошел народ, слишком много, в итоге остается только грубое животное. Первобытное существо, которое мы – вы, я и другие, подобные нам, – пытались поднять из жижи, где оно барахталось. – Он довольно долго молчал, потом слегка усмехнулся. – От филолога нельзя требовать, чтобы он своими руками рушил постройку, которую обязался всю жизнь возводить.

Стоунер откашлялся и неуверенно проговорил:

– Все произошло так быстро… Как-то до меня не доходило, пока я не поговорил с Финчем и Мастерсом. Да и сейчас все кажется каким-то нереальным.

– И правильно кажется, – сказал Слоун. Он беспокойно шевельнулся, опять отворачиваясь от Стоунера. – Я не собираюсь вам указывать, как поступить. Я просто вам говорю: выбор за вами. Будет призыв, но вы можете получить освобождение, если захотите. Вы не боитесь идти, как я понимаю?

– Нет, сэр, – ответил Стоунер. – По-моему, нет.

– Значит, у вас есть выбор, и сделать его вы должны будете сами. Само собой, если надумаете записаться, то ваше нынешнее положение здесь сохранится за вами до возвращения.

Если решите не идти в армию, сможете остаться в прежнем качестве, но никаких особых преимуществ, разумеется, не получите; не исключено даже, что это повредит вашей карьере сейчас или в будущем.

– Понимаю, – сказал Стоунер.

Последовало долгое молчание, и в конце концов Стоунер подумал, что все между ними сказано. Но когда он поднялся, чтобы идти, Слоун снова заговорил.

– Вам следует помнить, – промолвил он медленно, – кто вы есть и на какую дорогу встали, помнить о значении того, что делаете. Внутри рода человеческого ведутся и безоружные войны, бывают и безоружные поражения и победы, о которых не пишут в исторических анналах. Прошу вас иметь это в виду, когда будете принимать решение.

Два дня Стоунер не ходил вести занятия и не говорил ни с кем из знакомых. Он сидел у себя в каморке, и внутри него шла борьба. Его окружали книги и тишина комнаты; только изредка внешний мир давал о себе знать дальними голосами перекрикивающихся студентов, частым перестуком колес конной коляски по кирпичной мостовой, глухим пыхтением какого-либо из десятка имевшихся в городе автомобилей. У него не было привычки к самоанализу, и исследование собственных побуждений оказалось для него трудной и малоприятной задачей; он чувствовал скудость того, что мог себе предложить, что мог внутри себя найти.

Когда он пришел наконец к решению, ему показалось, что он с самого начала знал, каким оно будет. Встретив в пятницу Мастерса и Финча, он сказал им, что не пойдет с ними на войну.

Гордон Финч, которого продолжало будоражить приобщение к доблести, напрягся, и на его лице возникло выражение печальной укоризны.

– Подводишь нас, Билл, – проговорил он сдав ленно. – Ты всех нас подводишь.

– Да помолчи ты, – сказал ему Мастерс. Он пытливо посмотрел на Стоунера. – Я предполагал, что ты можешь так решить. В твоей тощей фигуре всегда чувствовалась верность выбранному пути. Но скажи, хоть это, конечно, и не имеет значения: что склонило чашу весов?

Стоунер ответил не сразу. Он подумал о прошедших двух днях, о молчаливой борьбе, которая, казалось, не имела ни цели, ни смысла; подумал о своих семи годах в университете; подумал о годах более ранних, о далеких годах на родительской ферме и о мертвенном оцепенении, от которого он был чудесным образом пробужден к жизни.

– Не знаю, – вымолвил он наконец. – Всё, по-моему. Не могу сказать.

– Трудно тебе тут, оставшемуся, будет, – заметил Мастерс.

– Я знаю, – сказал Стоунер.

– Но считаешь, игра стоит свеч.

Стоунер кивнул. Мастерс усмехнулся и проговорил со своей обычной иронией:

– Да, фигура у тебя тощая, вид голодный. Ты обречен, мой друг.

На лице Финча печальный укор уступил место пробному, неуверенному презрению.

– Пройдет время, и ты пожалеешь об этом, Билл, – произнес он хриплым, полуугрожающим-полужалостливым голосом. Стоунер кивнул.

– Может быть, – сказал он.

Он попрощался с ними и пошел по своим делам. Им завтра предстояло ехать в Сент-Луис в вербовочный пункт, а ему надо было готовиться к занятиям со студентами.

Он не испытывал из-за своего решения чувства вины и, когда объявили общий призыв, подал заявление об отсрочке без особых сожалений; но он понимал значение взглядов, которые бросали на него старшие коллеги, и под внешней вежливостью студентов нередко давало себя знать лезвие неуважения. Ему даже показалось, что Арчер Слоун, который, узнав, что он остается в университете, тепло его поддержал, затем, спустя несколько месяцев войны, стал к нему суше и холоднее.

К весне 1918 года докторская диссертация у него была готова, и в июне ему присвоили степень. Месяцем раньше он получил письмо от Гордона Финча, который окончил офицерские

курсы и был направлен в тренировочный лагерь поблизости от Нью-Йорка. В свободное время, писал Финч, ему разрешили заниматься в Педагогическом колледже нью-йоркского Колумбийского университета, и там он тоже сумел сделать все необходимое, чтобы стать доктором философии; диплом он должен был получить летом.

А еще Финч сообщил ему, что Дэйва Мастерса отправили во Францию и там почти ровно через год после того, как он записался в армию США, он участвовал в первых боях экспедиционных сил и был убит под Шато-Тьерри.

Глава III

За неделю до торжественной церемонии, на которой Стоунеру предстояло получить диплом, Арчер Слоун предложил ему полную преподавательскую ставку в университете. Брать своих выпускников на работу, сказал ему Слоун, вообще-то не в правилах университета, но война породила общую нехватку подготовленных и опытных преподавателей, и ему удалось убедить администрацию сделать исключение.

До этого Стоунер без особой охоты написал в университеты и колледжи окрестных штатов несколько писем, где кратко сообщал свои профессиональные данные; не получив ответа ниоткуда, он испытал странноватое облегчение. Это облегчение он, впрочем, в известной мере мог понять: университет Миссури был для него источником того тепла и чувства безопасности, что он недополучил в детстве дома, и он не был уверен, что сумеет обрести нечто подобное в другом месте. Он с благодарностью принял предложение Слоуна.

И, когда он его принимал, ему бросилось в глаза, как постарел Слоун за год войны. Слоуну было под шестьдесят, но выглядел он лет на десять старше; волосы, которые прежде были серо-стального цвета и курчавились, образуя непослушную копну, теперь побелели и плоско, безжизненно облегали костлявый череп. Черные глаза подернулись тусклой влагой; кожа удлиненного лица с резкими линиями, в прошлом казавшаяся крепкой и “хорошо выделанной”, теперь походила на ветхую бумагу; в сухом ироничном голосе появилась дрожь. Глядя на него, Стоунер подумал: он умрет; может быть, ему год остался, может быть, два, может быть, десять – но он на пути к смерти. Преждевременное чувство утраты заставило Стоунера отвернуться.

Летом 1918 года смерть и без того часто была у него на уме. Гибель Мастерса подействовала на него сильнее, чем он готов был признать; из Европы между тем начали приходить списки убитых и раненых американцев. Когда он раньше думал о смерти, он думал о ней либо как о событии внутри литературного сюжета, либо как о результате медленного, тихого износа несовершенной плоти под воздействием времени. Он не представлял себе при мысли о ней ни мясорубку на поле боя, ни струю крови из разорванного горла. Теперь он задумывался о разнице между двумя видами смерти, пытался понять ее смысл; и он обнаруживал, что в нем копится горечь, сходная с той, чьи знаки он некогда видел, – с горечью в живом сердце его друга Дэвида Мастерса.

Диссертация его называлась “Влияние античной традиции на средневековую лирику”. Он провел немалую часть лета за перечитыванием античных и средневековых поэтов, писавших на латыни, и особенно их стихов о смерти. Ему вновь бросалось в глаза, как легко, как красиво древнеримские лирики принимали факт смерти, словно грядущая пустота небытия была для них закономерной платой за удовольствия прожитой жизни, за ее насыщенность; напротив, у некоторых более поздних латиноязычных поэтов-христиан он находил тоску, ужас и едва прикрытую ненависть при взгляде на смерть, пусть и туманно, но обещавшую, казалось бы, экстатическое богатство вечной жизни; эти обещания, похоже, оборачивались насмешкой, отравлявшей их земное существование. Думая о Мастерсе, он уподоблял его Катуллу или более мягкому, более лиричному Ювеналу, отправленному в ссылку; он представлял себе Мастерса изгнанником в собственной стране, а его смерть – еще одним изгнанием, более странным и продолжительным, чем прижизненное.

Когда начался осенний семестр 1918 года, всем было уже ясно, что война в Европе скоро кончится. Последнее отчаянное наступление немцев было остановлено недалеко от Парижа, и маршал Фош отдал приказ об общем контрнаступлении союзных сил, которые быстро оттеснили немцев на исходные рубежи. Британцы двигались на север, американцы наступали через Аргонский лес, платя цену, о которой в стране не слишком много думали среди общего воодушевления. Газеты пророчили крах Германии еще до Рождества.

Так что семестр начался в атмосфере лихорадочной, нервной веселости. Студенты и педагоги улыбались и энергично кивали друг другу в коридорах; на малозначительные выходки, которые позволяли себе иные из учащихся, преподаватели и администрация смотрели сквозь пальцы; студент, чья личность осталась неизвестной начальству, мгновенно превратился в местного народного героя, взобравшись на одну из громадных колонн перед Джесси-Холлом и подвесив к ее верхушке соломенное чучело кайзера.

Единственным человеком в университете, которого общее возбуждение, похоже, не затронуло, был Арчер Слоун. С того самого дня, как Америка вступила в войну, он начал уходить в себя, и к концу войны этот уход становился все более явным. Он не разговаривал с коллегами, если только его не вынуждали к этому учебные дела, и, по слухам, на занятиях стал вести себя до того эксцентрично, что студенты входили в аудиторию не без страха; он нудно, монотонно читал им свои записки, никогда не поднимая на них глаз, и нередко его голос умолкал, сходил на нет; минуту, две, а то и пять он молча смотрел в свои бумаги, не двигался и не отвечал на вопросы озадаченных слушателей.

В последний раз некое подобие того яркого, ироничного человека, что Уильям Стоунер знал в студенческие годы, он увидел, когда Арчер Слоун давал ему преподавательскую нагрузку на учебный год. Стоунеру предстояло вести письменную практику в двух группах вновь поступивших и читать старшекурсникам обзорный курс среднеанглийской[2] литературы; сообщив ему об этом, Слоун сказал с толикой прежней иронии:

– Вам, как и многим нашим коллегам и немалой части студентов, приятно будет узнать, что я отказываюсь от некоторых своих курсов. В том числе от одного, весьма непритязательного, который был у меня любимым: от обзорного курса английской литературы для второкурсников. Помните его?

Стоунер кивнул, улыбаясь.

– Конечно, – продолжил Слоун. – Еще бы вы не помнили. Прошу вас взять его у меня. Большим подарком это трудно назвать; но я подумал, что вам, возможно, будет весело начать как полноправный преподаватель там же, где начинали студентом.

Несколько секунд Слоун смотрел на него пристально, с довоенным блеском в глазах. Но потом они опять подернулись пленкой безразличия, он отвернулся от Стоунера и принялся листать какие-то бумаги у себя на столе.

Так Стоунер начал со своей былой исходной точки – высокий, худой, сутулый мужчина в той же аудитории, где в прошлом сидел высокий, худой, сутулый юноша, сидел и слушал слова, которые привели его к нынешнему положению. И всякий раз, входя в аудиторию, он бросал взгляд на студенческое место, которое некогда занимал, и испытывал легкое удивление, не видя себя за этим столом.

Одиннадцатого ноября, через два месяца после начала семестра, было заключено перемирие. Новость пришла в учебный день, и мигом все занятия прекратились; студенты бесцельно носились по кампусу и, затевая небольшие шествия, то маршировали извилистыми путями через вестибюли, аудитории и кабинеты, то расходились, то вновь собирались группами. К одному из шествий, неохотно уступив настояниям его участников, примкнул и Стоунер; группа торжествующих студентов и преподавателей повлекла его в Джесси-Холл, там по коридорам, вверх по лестнице и снова по коридорам. Проходя мимо открытой двери кабинета Арчера Слоуна, он увидел перекошенное лицо Слоуна, который, сидя за столом, плакал, не таясь и не стирая слез с исчерченного складками лица. Еще некоторое время ошеломленный Стоунер продолжал идти вместе со всеми. Потом отделился и отправился в свою комнату поблизости от кампуса. Сидя в сумраке комнаты, он слышал доносившиеся снаружи возгласы радости и облегчения и думал об Арчере Слоуне, оплакивавшем поражение, которое видел он

[2] Среднеанглийский язык и литература на нем – язык и литература Англии с конца XI до конца XV века.

один. Видел или воображал, что видит? Так или иначе, в кабинете сидел сломленный человек, которому не суждено было вновь стать таким, каким он был.

Ближе к концу ноября многие из тех, кто ушел на войну, начали возвращаться в Колумбию, и в кампусе то и дело на глаза попадалась грязновато-оливковая военная форма. Среди отпущенных из армии в продолжительный отпуск был Гордон Финч. За полтора года, проведенные вне университета, он еще пополнел, и в широком открытом лице, которое раньше выражало лишь приятельскую готовность пойти тебе навстречу, появилась степенность – дружелюбная, но не без строгости; он носил капитанские нашивки и часто поминал своих солдат, которых по-отцовски называл “мои ребята”. С Уильямом Стоунером он держался тепло, но на некотором расстоянии, а по отношению к пожилым преподавателям проявлял преувеличенное почтение. Давать ему преподавательскую нагрузку в том учебном году уже было поздно, поэтому до летних каникул ему предоставили временную синекуру, назначив помощником по административным делам декана колледжа гуманитарных и естественных наук. Финч был достаточно чуток, чтобы понимать неопределенность своего теперешнего положения, и достаточно смышлен, чтобы видеть возможности, которые оно открывало; в общении с коллегами он был осторожен и уклончиво вежлив.

Деканом колледжа гуманитарных и естественных наук был Джосайя Клэрмонт, малорослый бородатый человек весьма преклонных годов, уже несколько лет назад достигший возраста, когда его могли принудительно отправить на пенсию; сын одного из первых ректоров университета, он работал в нем с той самой поры в начале восемьсот семидесятых, когда он превратился в университет из педагогического колледжа. Джосайя Клэрмонт был очень глубоко укоренен и составлял, казалось, неотъемлемую часть университетской истории, поэтому настаивать на его уходе никто не отваживался, несмотря на его растущую некомпетентность в делах. С памятью у него уже было очень плохо; порой ему случалось заблудиться в коридорах Джесси-Холла, где находился его кабинет, и его надо было вести, как ребенка.

Его представления о том, что происходит в университете, стали такими туманными, что разосланное от его имени приглашение к нему домой на торжественный прием в честь преподавателей и сотрудников, вернувшихся из армии, большинство сочло либо изощренным розыгрышем, либо ошибкой. Но оно не было ни тем ни другим. Гордон Финч подтвердил приглашение; широко распространился слух, что именно он подал мысль о приеме и что именно он его организатор.

Джосайя Клэрмонт, овдовевший много лет назад, жил один с тремя почти такими же старыми, как он, чернокожими слугами в одном из тех больших домов, построенных до войны Севера и Юга, что в прошлом часто встречались вокруг Колумбии, но теперь быстро исчезали, теснимые застройщиками и мелкими независимыми фермерами. Архитектура дома была приятной, но какой-то неопределенной; по общим очертаниям, по обширности дом ассоциировался с южными штатами, но был лишен неоклассической строгости виргинских жилых зданий. Его дощатая обшивка была выкрашена в белый цвет, а оконные наличники и балюстрады балкончиков верхнего этажа – в зеленый. Парк вокруг дома переходил в лес, окружавший его со всех сторон, подъездная и пешеходные дорожки были обсажены высокими тополями, безлиственными в декабре. Это был самый величественный из всех домов, что Уильям Стоунер видел в жизни; в ту пятницу он не без страха подошел к нему в предвечерних сумерках и примкнул к группе незнакомых преподавателей, ожидавших на пороге.

Гордон Финч, и теперь одетый в военную форму, открыл перед ними дверь и пригласил их войти; гости вступили в небольшую прямоугольную прихожую, откуда крутая лестница с полированными дубовыми перилами вела на второй этаж. На лестничной стене прямо перед вошедшими висел маленький французский гобелен в голубых и золотистых тонах, до того выцветший, что в тусклом желтоватом свете электрических лампочек разглядеть узор было

трудно. Гости разбрелись по прихожей, а Стоунер все стоял на одном месте и смотрел на гобелен.

– Давай мне пальто, Билл, – неожиданно прозвучало у него над ухом. Он обернулся и увидел Финча, с улыбкой протянувшего руку за пальто, которое Стоунер еще не снял.

– Первый раз здесь, да? – спросил Финч полушепотом. Стоунер кивнул.

Финч повернулся к другим пришедшим и, почти не повышая голоса, сумел обратиться к ним так, что они услышали:

– Прошу вас в главную гостиную. – Он показал на дверь справа. – Многие уже там.

Он опять заговорил со Стоунером.

– Великолепный старый дом, – сказал он, вешая пальто Стоунера в большой стенной шкаф под лестницей. – Одна из достопримечательностей здешних мест.

– Да, – согласился Стоунер. – Мне про него говорили.

– А декан Клэрмонт – великолепный старик. Он попросил меня смотреть тут за всем сегодня.

Стоунер кивнул.

Финч взял его под руку и повел к двери, на которую показал.

– Мы с тобой непременно потолкуем еще сегодня вечером. А сейчас входи, входи. Я к тебе присоединюсь через пару минут. Хочу познакомить тебя кое с кем.

Стоунер начал что-то ему говорить, но Финч уже отвернулся, чтобы поздороваться с новой группой вошедших. Стоунер сделал глубокий вдох и открыл дверь главной гостиной.

После прохладной прихожей на него пахнуло теплом, которое, казалось, хотело вытолкнуть его обратно; гул неторопливых разговоров внутри, устремившись наружу через дверной проем, первые секунды, пока уши не приноровились, давил на барабанные перепонки.

В комнате было два десятка человек или чуть больше, и поначалу он никого не мог узнать. Перед глазами перемещались строгие костюмы мужчин – черные, серые, коричневые; кое-где виднелись оливковые военные формы; там и сям плыли нежно-розовые или светло-голубые женские платья. Люди неторопливо прохаживались по теплой гостиной, и он тоже стал ходить, чувствуя себя непомерно высоким рядом с сидящими, кивая тем, кого теперь уже узнавал.

Из дальнего конца комнаты другая дверь вела в маленькую гостиную, примыкавшую к длинной и узкой столовой. Сквозь открытую двойную дверь столовой виднелся массивный ореховый обеденный стол, покрытый желтой камчатной скатертью и уставленный белыми тарелками и блестящими серебряными мисками. У конца стола, где собрались несколько человек, молодая женщина в голубом муаровом платье, высокая, стройная и светловолосая, стоя разливала чай в фарфоровые чашки с золотыми ободками. Стоунер, завороженный ее видом, приостановился в дверях. Ее продолговатое лицо с изящными чертами светилось улыбкой, ее тонкие, хрупкие на вид пальцы ловко обращались с чайником и чашками; глядя на нее, Стоунер преисполнился сознанием своей тупой неуклюжести.

Шли секунды, а он все стоял в дверном проеме; поверх общего говора гостей, получавших от нее чашки, слышался ее мягкий высокий голос. Она подняла голову, и вдруг их глаза встретились; бледные и большие, ее глаза, казалось, излучали свое собственное сияние. Изрядно смутившись, Стоунер подался назад и вернулся в маленькую гостиную; увидев там свободный стул у стены, он сел и уставился на ковер под ногами. Он не смотрел в сторону столовой, но то и дело ему чудилось, что по его лицу скользит, овевая его теплом, взгляд молодой женщины.

Гости вокруг него ходили, садились, пересаживались, меняли положение тел, находя новых собеседников. Стоунер видел их сквозь некую дымку, словно был зрителем, а не участником происходящего. Через несколько минут в гостиной появился Гордон Финч, и Стоунер, встав со стула, пересек комнату и подошел к нему. Не слишком вежливо он вклинился в разго-

вор Финча с человеком постарше; отведя Финча в сторонку, но не понижая голоса, он попросил познакомить его с молодой женщиной, разливающей чай.

Лоб Финча, пока он смотрел на Стоунера, начал было досадливо хмуриться, но затем стал разглаживаться, брови удивленно пошли вверх.

– Что-что? – переспросил Финч. Хотя он был ниже Стоунера ростом, он глядел на него, казалось, сверху вниз.

– Мне хочется, чтобы ты меня с ней познакомил, – сказал Стоунер. Он чувствовал, что лицо у него горит. – Ты ее знаешь?

– Конечно, – ответил Финч. Его рот начал растягиваться в улыбке. – Она какая-то родственница декана, живет в Сент-Луисе, сейчас гостит у тетки. – Улыбка сделалась шире. – Ах ты, Билл, старина. Кто бы мог подумать. Конечно познакомлю. Пошли.

Ее звали Эдит Элейн Бостуик, и она жила с родителями в Сент-Луисе, где прошлой весной окончила двухгодичное частное учебное заведение для девушек; в Колумбию она приехала на несколько недель к старшей сестре матери, а весной они с теткой собирались отправиться в большую поездку по Европе, снова теперь возможную благодаря прекращению войны. Ее отец, глава небольшого сент-луисского банка, был родом из Новой Англии; в восемьсот семидесятые он перебрался на Средний Запад и женился на старшей дочери состоятельного семейства из центральной части Миссури. Эдит всю жизнь прожила в Сент-Луисе; несколько лет назад родители свозили ее в Бостон на светский сезон; она была в нью-йоркской опере и осматривала музеи. Ей было двадцать лет, она играла на фортепиано и проявляла художественные склонности, которые ее мать поощряла.

Позднее Уильям Стоунер не мог вспомнить в точности, как он все это усвоил в тот день в доме Джосайи Клэрмонта; ибо то, что происходило после знакомства, он воспринимал нечетко и на внешнем уровне, как узор на гобелене над лестницей. Он говорил с ней, помнилось ему, для того, чтобы она смотрела на него, оставалась рядом и, отвечая на его вопросы и спрашивая в свой черед о чем-то малозначительном, услаждала его слух своим мягким высоким голосом.

Гости начали расходиться. Звучали прощания, хлопали двери, комнаты пустели. Стоунер ушел в числе последних; когда за Эдит приехал экипаж, он двинулся за ней в прихожую и подал ей пальто. Она уже готова была выйти, и тут он спросил, не мог ли бы он посетить ее следующим вечером.

Словно не услышав его, она открыла дверь и несколько секунд стояла неподвижно; холодный воздух с улицы студил разгоряченное лицо Стоунера. Она повернулась, посмотрела на него и несколько раз моргнула; взгляд ее голубых бледных глаз был оценивающим, почти невежливым. Наконец она кивнула. – Да. Могли бы, – сказала она без улыбки.

И он посетил ее, пройдя через весь городок к дому ее тетки морозным зимним вечером. На небе не было видно ни облачка; полумесяц освещал легкий снежок, выпавший днем. Улицы были пусты, и мягкое безмолвие нарушал только сухой хруст снега под ногами. Стоунер довольно долго простоял перед большим домом, слушая тишину. Ступни немели от холода, но он не двигался. Из занавешенных окон на голубоватый снег пятнами падал неяркий желтый свет; ему показалось, он видит внутри движение, но он не был уверен. Осознанно, как будто беря на себя некое обязательство, он прошел по дорожке к двери и постучался.

Ему открыла тетя Эдит (ее звали, как Стоунер уже узнал, Эмма Дарли, она несколько лет назад овдовела). Она пригласила его войти; это была женщина малорослая и пухлая, с роскошной седой прической. Ее темные глаза влажно моргали, а говорила она тихо и затаив дыхание, точно сообщала секреты. Стоунер последовал за ней в гостиную и сел к ней лицом на длинный ореховый диван, чьи сиденье и спинка были обиты плотным синим бархатом. К его ботинкам прилип снег; он смотрел, как он тает, образуя мокрые пятна на толстом ковре с цветочным рисунком.

– Эдит сказала мне, вы преподаете в университете, мистер Стоунер, – промолвила миссис Дарли.

– Да, мэм, – подтвердил он и откашлялся.

– Это так *мило* – получить новую возможность поговорить с молодым профессором нашего университета, – оживленно сказала миссис Дарли. – Мистер Дарли, мой покойный муж, в свое время был членом попечительского совета университета – но вы, вероятно, и без меня это знаете.

– Нет, мэм, – признался Стоунер.

– О… – промолвила миссис Дарли. – Мы частенько приглашали молодых профессоров на чашку чаю. Но это было давно, еще до войны. Вы были на войне, профессор Стоунер?

– Нет, мэм, – ответил Стоунер. – Я был в университете.

– Понимаю, – сказала миссис Дарли и оживленно кивнула. – А преподаете вы…

– Английский, – сказал Стоунер. – Но я не профессор. Просто преподаватель.

Он чувствовал, что его голос звучит резко, но не мог ничего с ним поделать. Он попытался улыбнуться.

– Понимаю, понимаю, – проговорила она. – Шекспир… Браунинг…

Повисло молчание. Стоунер, сжав одну кисть руки другой, уставился в пол.

– Пойду посмотрю, готова ли Эдит, – сказала миссис Дарли. – Если вы не возражаете.

Стоунер кивнул и, когда она выходила, поднялся на ноги. Из соседней комнаты послышалось яростное перешептывание. Несколько минут он простоял один.

Вдруг в широком дверном проеме возникла Эдит, бледная и серьезная. Они посмотрели друг на друга неузнающими взглядами. Эдит сделала шаг назад, но потом пошла в гостиную, ее тонкие губы были плотно сомкнуты. Они церемонно пожали друг другу руки и сели вместе на диван. Оба не произнесли пока ни слова.

Она была еще выше и хрупче, чем ему помнилось. Лицо удлиненное и худощавое, за сжатыми губами угадывались довольно крепкие зубы. Ее коже была свойственна некая особая выразительность: она буквально на все отзывалась легким приливом краски. Волосы светлые с рыжеватым оттенком, толстые косы она оборачивала вокруг головы. Но поразили его, как и накануне, ее глаза. Очень большие, они были полны немыслимо бледной голубизны. Когда он в них смотрел, его словно вытягивало из собственной оболочки и погружало в непостижимую тайну. Такой красавицы, подумалось ему, он еще не видел, и он сказал импульсивно:

– Я… я хочу побольше о вас узнать.

Она чуть отстранилась. Он торопливо добавил:

– Дело в том, что… вчера на приеме не представилось возможности поговорить по-настоящему. Я хотел, но там было очень много людей. Люди иногда мешают.

– Это был очень милый прием, – робко возразила Эдит. – Мне показалось, что все были очень милы.

– О да, конечно, – поспешил сказать Стоунер. – Я в том смысле, что…

Он не окончил фразу. Эдит сидела молча. Он сказал:

– Насколько я знаю, вы с тетей собираетесь поехать в Европу.

– Да, – подтвердила она.

– Европа… – Он покачал головой. – Представляю, как вы взволнованы.

Она принужденно кивнула.

– И куда вы поедете? Я имею в виду – в какие страны?

– В Англию, – сказала она. – Во Францию, в Италию.

– И вы отправляетесь… весной?

– В апреле, – ответила она.

– Пять месяцев, – сказал он. – Это не так много. Надеюсь, в эти месяцы мы сможем…

– Через три недели я уеду в Сент-Луис, – быстро проговорила она. – Меня ждут дома к Рождеству.

– Значит, времени *совсем* немного. – Он улыбнулся и, превозмогая стеснение, сказал: – Тогда мне надо будет видеться с вами как можно чаще, чтобы мы смогли получше узнать друг друга.

Она посмотрела на него чуть ли не с ужасом.

– Я не имела этого в виду, – сказала она. – Прошу вас…

Стоунер некоторое время молчал.

– Простите, я… Но мне бы очень хотелось бывать у вас еще, столько, сколько вы позволите. Смогу я?

– О, – промолвила она. – Ну…

Ее сведенные руки лежали на коленях, тонкие пальцы были сплетены, костяшки их, где особенно натянулась кожа, побелели. На тыльной стороне ладоней у нее были еле заметные веснушки.

Стоунер сказал:

– Кажется, разговор у нас идет не так, как надо. Вы должны меня простить. Я в первый раз познакомился с такой особой, вот и несу всякий вздор. Вы должны меня извинить, если я смутил вас.

– Нет-нет, – возразила Эдит. Она повернулась к нему и сложила губы в то, что должно было, он понял, означать улыбку. – Ничего подобного. Вы прекрасный собеседник. Поверьте.

Он не знал, о чем говорить. Упомянул о погоде и извинился за мокрые следы на ковре; она в ответ что-то пробормотала. Стал рассказывать о своих занятиях со студентами, и она кивала, мало что понимая. Немного посидели молча. Наконец Стоунер встал; он передвигал ноги медленно и тяжело, словно был обессилен. Эдит смотрела на него снизу вверх пустым взглядом.

– Вы знаете… – сказал он и кашлянул. – Становится поздно, поэтому я… В общем, простите меня. Вы мне разрешите на днях еще раз у вас побывать? Может быть, тогда…

Она точно не слышала. Он кивнул, пожелал ей спокойной ночи и повернулся, чтобы идти.

И тут Эдит Бостуик заговорила высоким пронзительным голосом на одной ноте: – Когда мне было шесть лет, я играла на пианино и любила рисовать, но была очень застенчивая, и тогда мама отдала меня в школу для девочек мисс Торндайк в Сент-Луисе. Я там была самая младшая, но папа это уладил, потому что был членом попечительского совета. Сначала мне там не нравилось, но потом я полюбила школу. Там все девочки были очень милые, из хороших семей, и с некоторыми мы подружились на всю жизнь, и…

Стоунер, когда она начала говорить, повернулся к ней, и он глядел на нее с изумлением, внешне не проявлявшимся. Она смотрела неподвижными глазами прямо перед собой, лицо отсутствующее, губы шевелились так, словно она, не понимая, читала по невидимой книжке. Он медленно прошел через комнату и сел рядом с ней. Она, казалось, не замечала его; взгляд по-прежнему был устремлен в одну точку, и она продолжала рассказывать ему о себе, как он просил. Ему хотелось остановить ее, успокоить, прикоснуться к ней. Но он не двигался, молчал.

Она говорила и говорила, и через какое-то время до него начали доходить ее слова. Годы спустя ему придет в голову, что за эти полтора часа декабрьским вечером, когда они впервые долго пробыли вместе, она рассказала ему о себе больше, чем когда-либо потом. И, расставаясь с ней, он чувствовал, что они чужие друг другу, но чужие по-иному, чем он мог предполагать, и он знал, что любит ее.

То, что Эдит Элейн Бостуик говорила в тот вечер Уильяму Стоунеру, возможно, шло мимо ее сознания, и в любом случае ей недоступно было значение рассказанного. Но Стоунер понял, о чем она говорит, и запомнил навсегда; это была своего рода исповедь, в которой он расслышал мольбу о помощи.

Когда он познакомился с ней лучше, ему больше стало известно о ее детстве, и он понял, что оно было типичным для девочки в те годы и в том слое общества. В основе ее воспитания лежала предпосылка, что она должна быть защищена от всего нехорошего и грубого, что может возникнуть в жизни, и ее единственный долг, как считалось, состоял в том, чтобы изящно и благовоспитанно принимать эту защиту; ибо она принадлежала к социально-экономическому классу, в котором обеспечение такой защиты было признано чуть ли не священным долгом. Она посещала частные школы для девочек, где ее научили чтению, письму и арифметике; ее поощряли к тому, чтобы в свободное время вышивать, играть на пианино, рисовать акварелью, читать и обсуждать добрые книжки. Ее также наставляли в отношении одежды, осанки, красивого выговора и нравственности.

Ее нравственное воспитание как в школе, так и дома носило отрицательный характер, сводилось к запретам и было направлено почти исключительно на вопросы пола. Половая направленность, однако, не признавалась, камуфлировалась, и поэтому половой темой были неявно проникнуты все сферы ее образования и воспитания; большая часть энергии в них происходила именно от этой потаенной внутренней силы. Она усвоила, что у нее будут обязанности по отношению к мужу и семье, которые она должна будет исполнять.

Ее детство, даже в самые обычные часы семейной жизни, было чрезвычайно церемонным. Ее родители были друг с другом отстраненно-вежливы; Эдит никогда не видела, чтобы между ними спонтанно вспыхивала нежность или недовольство. Недовольство было днями вежливого молчания, нежность была словом вежливой приязни. Она была единственным ребенком, и одиночество очень рано стало для нее одним из привычных состояний.

Итак, она росла, культивируя в себе весьма умеренные способности к изящным искусствам и не имея представления о необходимости жить изо дня в день. Ее вышивка была утонченна и бесполезна, она писала акварелью туманные, бледные пейзажи, она играла на фортепиано вялыми, но точными пальцами; при этом она имела довольно смутное представление о своих собственных телесных функциях, она ни дня в своей жизни не провела одна, заботясь о себе сама, и ей в голову не могло прийти, что она может стать ответственна за благополучие другого человека. Ее жизнь была неизменна, как негромкий шум на ровной ноте, и шла под надзором матери, которая, когда Эдит была ребенком, часами сидела, глядя, как дочь рисует свои акварели или играет на пианино, словно никакого иного занятия ни для той, ни для другой не существовало на свете.

В тринадцать лет с Эдит произошла обычная половая метаморфоза, и в то же время она претерпела другую телесную метаморфозу, да такую, какая редко у кого бывает. За несколько месяцев она выросла без малого на фут и ростом стала почти со взрослого мужчину. В ней возникла психологическая связь между телесной нескладностью и причинявшей свои неудобства половой зрелостью – связь, от которой она так никогда и не смогла вполне освободиться. Эти перемены усилили в ней природную застенчивость; она дичилась одноклассниц, ни с кем не могла поговорить по душам дома и все больше и больше замыкалась в себе.

В это-то внутреннее уединение и вторгся сейчас Уильям Стоунер. И что-то в ней, о чем она не подозревала, понудило ее обратиться к нему, когда он двинулся к выходу, некий инстинкт заставил ее заговорить с ним так торопливо и отчаянно, как она никогда не говорила раньше и никогда не будет впредь.

В последующие две недели он виделся с ней почти каждый вечер. Они побывали на концерте, организованном новым музыкальным отделением университета; в те вечера, когда было не слишком холодно, они медленно, чинно гуляли по улицам Колумбии; но чаще сидели в гостиной у миссис Дарли. Иногда разговаривали, порой он слушал игру Эдит и смотрел, как ее пальцы сухо бегают по клавишам. После того первого вечера вдвоем их беседы стали на редкость отвлеченными; ему не удавалось преодолеть ее сдержанность, и когда он увидел, что его

попытки приводят ее в замешательство, он их прекратил. Однако был в их отношениях и некий элемент непринужденности; ему казалось, что они понимают друг друга. Когда до ее возвращения в Сент-Луис оставалось меньше недели, он признался ей в любви и предложил выйти за него замуж. Он не мог и не пытался предугадать, как она это воспримет; но его удивило ее хладнокровие. Выслушав, она окинула его долгим взглядом, задумчивым и, как ни странно, вовсе не робким; этот взгляд напомнил ему вечер их знакомства, когда он попросил разрешения посетить ее и она посмотрела на него из открытой двери, откуда несло холодом. Наконец она опустила глаза, и удивление, которое выразилось на ее лице, показалось ему неискренним. Она сказала, что никогда не думала, не подозревала, даже вообразить не могла.

– Вы не могли не знать, что я люблю вас, – возразил он. – Я не в состоянии был скрывать это.

– Я не знала, – промолвила она, чуть оживившись. – Я совсем не разбираюсь в таких вещах.

– Тогда я должен повторить это вам, – мягко сказал он. – И вам надо будет с этим свыкнуться. Я люблю вас и не представляю себе жизни без вас.

Она покачала головой, точно в смятении.

– Мне же ехать в Европу… – слабым голосом произнесла она. – Тетя Эмма…

Он почувствовал, как подступает смех, и сказал, испытывая радостную уверенность:

– Не волнуйтесь. Я сам вас свожу в Европу. Мы когда-нибудь увидим ее вместе.

Она отстранилась от него и поднесла кончики пальцев ко лбу.

– Вы должны дать мне время подумать. И мне надо поговорить с мамой и папой, до этого я не могу даже начать рассматривать…

Ничем сверх того она себя не связала. В те несколько дней, что оставались до ее возвращения в Сент-Луис, попросила его не приходить и пообещала написать ему оттуда, когда поговорит с родителями и соберется с мыслями. Уходя тем вечером, он наклонился, чтобы ее поцеловать; она повернула голову, и его губы скользнули по щеке. На прощание она, не глядя на него, легонько пожала его руку.

Десять дней спустя он получил от нее письмо. Оно было на удивление официальным, и об их последнем разговоре в нем не упоминалось вовсе. Она хотела бы, писала она ему, чтобы он приехал в Сент-Луис для встречи с ее родителями; они будут ждать его, если он сможет, в следующие выходные.

Родители Эдит, как он и ожидал, держались при встрече с ним довольно чопорно, они постарались сразу же уничтожить любую непринужденность, какую он мог испытывать. Миссис Бостуик задавала ему вопрос и, выслушав ответ, тянула: “Да-а-а”, при этом всем своим видом выражала сомнение и смотрела на него с таким любопытством, как если бы у него была грязь на лице или шла кровь из носа. Она была высокая и худая, как Эдит, и вначале Стоунера поразило сходство, которого он не ожидал; но лицо у миссис Бостуик было грузное и апатичное, не выражавшее ни внутренней силы, ни тонкости, и в него глубоко въелась некая хроническая неудовлетворенность.

Хорас Бостуик тоже был высокого роста, но чрезвычайно тяжел и рыхл, почти тучен; его обширную лысину обрамляла курчавая седина, со щек свисали складки кожи. Обращаясь к Стоунеру, он смотрел куда-то поверх его головы, как будто видел что-то за ним, а когда Стоунер отвечал, барабанил толстыми пальцами по отделанному кантом борту жилетки.

Эдит поздоровалась со Стоунером как с заурядным гостем, а затем отошла и с видимым безразличием занялась чем-то маловажным. Его взгляд следовал за ней, но встретиться с ней глазами никак не удавалось.

Дом был самый большой и изысканный из всех, где Стоунеру довелось побывать. Сумрачные комнаты с очень высокими потолками были полны ваз всевозможных размеров и форм; на комодах и столах с мраморными столешницами тускло поблескивали серебряные изделия;

мягкая мебель, обитая дорогой тканью, радовала глаз изящными очертаниями. Они прошли через несколько комнат в большую гостиную, куда, сообщила ему по пути миссис Бостуик, они с мужем обычно приглашают друзей, когда те приходят посидеть и поболтать. Стоунер сел на стул, до того тонконогий, что страшно было шевельнуться; он чувствовал, как стул пошатывается под его весом.

Эдит между тем исчезла; Стоунер стал озираться с чувством, близким к отчаянию. Но она вернулась в гостиную лишь почти через два часа, когда Стоунер и ее родители окончили свою "беседу".

"Беседа" протекала извилисто и медленно, в обход главного предмета, и прерывалась долгими паузами. Хорас Бостуик несколько раз принимался рассказывать о себе, устремляя взгляд в некую точку несколькими дюймами выше макушки Стоунера. Стоунер узнал, что Бостуик родом из Бостона, где его отец, будучи уже немолодым человеком, погубил свою карьеру банкира и будущность сына в Новой Англии рядом опрометчивых вложений, приведшим к закрытию банка ("Его предали, – сообщил Бостуик потолку, – фальшивые друзья"). Сын вскоре после Гражданской войны перебрался в Миссури, намереваясь двигаться на запад; но крайней западной точкой для него стал не такой уж далекий Канзас-Сити, куда он иногда совершал деловые поездки. Помня о судьбе отца, он предпочел не покидать своего первоначального места в маленьком сент-луисском банке; когда ему было под сорок, он, занимая надежную, пусть и относительно скромную, должность вице-президента, женился на миссурийской девушке из хорошей семьи. Этот брак принес ему только одного ребенка; он хотел сына, но родилась девочка, и это было еще одним разочарованием, которое он не особенно трудился скрывать. Подобно многим мужчинам, считающим свой успех недостаточным, он был чрезвычайно напыщен и полон сознания собственной значительности. Каждые десять – пятнадцать минут он вынимал из жилетного кармана золотые часы, смотрел на них и кивал самому себе.

Миссис Бостуик говорила о себе реже и не столь прямо, но Стоунер быстро понял, что она такое. Она принадлежала к определенному типу южных дам. Происходя из старой, тихо обедневшей семьи, она росла с убеждением, что стесненные обстоятельства, в которых семья живет, не отвечают ее достоинствам. Ее приучили надеяться на некое улучшение, но в чем это улучшение должно состоять, никогда точно не объяснялось. Когда она выходила замуж за Хораса Бостуика, эта неудовлетворенность уже так глубоко в нее въелась, что стала частью ее личности; годы шли, и чем дальше, тем сильней становились в ней недовольство и горечь, они приняли такой общий и всепроникающий характер, что смягчить их нельзя было ничем. Голос у нее был высокий и тонкий, и нота безнадежности, которая в нем слышалась, придавала каждому произносимому ею слову особое звучание.

День уже клонился к вечеру, когда разговор наконец перешел на то, ради чего была устроена встреча.

Они сказали ему, как дорога им Эдит, как их заботит ее судьба, ее счастье, какими удобствами жизни она привыкла пользоваться. Стоунер сидел в мучительном смятении и старался давать мало-мальски уместные ответы на их вопросы.

– Она необыкновенная девушка, – заявила миссис Бостуик. – Такая чуткая, такая хрупкая. – Морщины на ее лице углубились, и в голосе зазвучала обычная для нее горечь. – Никто, ни один мужчина не способен до конца понять эту… эту…

– Да, – коротко подытожил Хорас Бостуик. И поинтересовался тем, какие у Стоунера "виды на будущее". Стоунер отвечал, как мог; он никогда раньше не задумывался о своих "видах" и сам теперь был удивлен, до чего они скромны.

– И у вас нет… средств… помимо профессиональных заработков? – спросил Бостуик.

– Нет, сэр, – сказал Стоунер. Мистер Бостуик огорченно покачал головой.

– Эдит – вы знаете – привыкла к удобствам жизни. Прекрасный дом, прислуга, лучшие школы. Я хотел бы вас спросить… Меня беспокоит неизбежное, принимая во внимание ваше положение, снижение уровня, которое… – Он запнулся.

Стоунер почувствовал, что в нем поднимаются неприязнь и гнев. Он немного помолчал и постарался, отвечая, сделать тон как можно более ровным и бесстрастным.

– Я должен сказать вам, сэр, что раньше никогда не рассматривал эти материальные стороны. Счастье Эдит для меня, конечно… Если вы полагаете, что Эдит будет несчастлива, то я вынужден…

Он умолк, подыскивая слова. Он хотел объяснить отцу Эдит, что любит ее, что не сомневается в их счастливой будущности вдвоем, хотел обрисовать их грядущую жизнь, какой она ему видится. Но он не стал говорить дальше. Выражение беспокойства, смятения и даже чего-то похожего на страх на лице Хораса Бостуика лишило Стоунера дара речи.

– Нет-нет, – торопливо произнес Хорас Бостуик, и его лицо стало не таким хмурым. – Вы меня не поняли. Я просто попытался привлечь ваше внимание к определенным… трудностям, которые… могут воз никнуть в будущем. Но я уверен, что вы с Эдит уже все это обсудили и знаете, чего хотите. Я уважаю ваши намерения и…

И дело было решено. Прозвучали еще какие-то слова, и миссис Бостуик вслух поинтересовалась, где так долго пропадает Эдит. Своим высоким, тонким голосом она позвала дочь по имени, и через несколько мгновений Эдит вошла в комнату, где они втроем ее ждали. На Стоунера она не глядела.

Хорас Бостуик сказал ей, что он и “ее молодой человек” очень мило поговорили и он дает свое отцовское благословение. Эдит кивнула.

– Тогда, – сказала ее мать, – мы должны обсудить наши планы. Свадьбу можно устроить весной. Или в июне.

– Нет, – возразила Эдит.

– Что, моя милая? – приятным тоном переспросила мать.

– Если этому быть, – сказала Эдит, – то как можно скорее.

– Нетерпение молодости, – проговорил мистер Бостуик и откашлялся. – Но мама, думаю, права, моя милая. Надо все спланировать; на это уйдет время.

– Нет, – повторила Эдит тоном до того решительным, что все на нее посмотрели. – Чем скорее, тем лучше.

Воцарилось молчание. Потом ее отец промолвил на удивление мягко:

– Ну что ж, моя милая. Как ты скажешь. Вам решать, молодым.

Эдит кивнула, пробормотала что-то о делах, которые недоделала, и выскользнула из комнаты. Стоунер не видел ее до ужина, прошедшего в торжественном молчании за большим столом, во главе которого сидел Хорас Бостуик. После ужина Эдит играла им на пианино, но играла скованно и неважно, часто ошибаясь. Потом сказала, что не очень хорошо себя чувствует, и ушла в свою комнату.

Ночуя в спальне для гостей, Уильям Стоунер не мог уснуть. Он вглядывался в темноту, удивленно думал о предстоящем повороте в жизни и впервые задавался вопросом, правильно ли поступает. Затем вызвал мысленно образ Эдит и почувствовал себя уверенней. Вполне возможно, предположил он, все мужчины испытывают подобные сомнения, делая такой шаг.

Утром ему надо было возвращаться в Колумбию ранним поездом, и после завтрака у него было мало времени. Он хотел поехать на вокзал на трамвае, но мистер Бостуик настоял, чтобы он сел в ландо, и отрядил слугу его отвезти. Эдит должна была через несколько дней написать ему о свадебных планах. Он поблагодарил ее родителей и попрощался с ними; они и Эдит проводили его до уличной двери. Он почти уже дошел до калитки, когда сзади послышались торопливые шаги. Он обернулся. Это была Эдит. Очень высокая, прямая, бледная, она стояла

перед ним и смотрела ему в глаза. – Я постараюсь быть тебе хорошей женой, Уильям, – сказала она. – Я постараюсь.

У него мелькнула мысль, что здесь, в Сент-Луисе, это был первый раз, когда его назвали по имени.

Глава IV

По причинам, которые Эдит отказывалась разъяснять, она не хотела, чтобы бракосочетание состоялось в Сент-Луисе, поэтому его устроили в Колумбии в большой гостиной у Эммы Дарли, где будущие супруги провели первый вечер наедине. Была первая неделя февраля, в университете только-только начались зимние каникулы. Бостуики приехали из Сент-Луиса в день свадьбы на поезде, а родители Уильяма, которые еще не видели Эдит, отправились со своей фермы и прибыли в Колумбию накануне, в субботу.

Стоунер хотел поселить их в гостинице, но они предпочли остановиться у Футов, хотя Футы после того, как Уильям от них съехал, сделались довольно холодны и держались отчужденно. – К гостиницам у нас привычки нет, поди там разберись, – объяснил Стоунеру отец. – А Футы уж как-нибудь потерпят нас одну ночь.

Субботним вечером Уильям нанял двуколку и повез родителей к Эмме Дарли, чтобы познакомить их с Эдит.

Открыв им дверь, миссис Дарли бросила на родителей Уильяма быстрый и неловкий взгляд и пригласила их в гостиную. Там осторожно, словно боясь сделать лишнее движение в сковывающей новой одежде, его мать и отец сели.

– Понять не могу, что там задерживает Эдит, – про бормотала через некоторое время миссис Дарли. – Схожу за ней, если вы позволите.

Она отправилась из комнаты за племянницей.

Спустя долгое время Эдит спустилась по лестнице; в гостиную она входила медленно, неохотно и с неким испуганным вызовом.

Сидевшие поднялись на ноги, и несколько секунд все четверо смущенно стояли, не зная, что сказать. Потом Эдит принужденно шагнула вперед и подала руку сначала матери Уильяма, затем отцу.

– Здравствуйте, – церемонно промолвил отец и бережно выпустил ее руку, точно опасаясь по вредить.

Эдит посмотрела на него, попыталась улыбнуться и подалась назад.

– Садитесь, прошу вас, – сказала она.

Они сели. Уильям произнес какие-то слова. Он чувствовал, что его голос звучит напряженно.

В наступившей тишине его мать тихо и с удивлением, словно думая вслух, проговорила:

– Надо же, а она хорошенькая, ведь правда? Уильям негромко рассмеялся и мягко подтвердил:

– Да, мэм, чистая правда.

После этого они смогли разговаривать посвободнее, хотя порой поглядывали друг на друга, а затем переводили взор куда-нибудь в далекий угол. Эдит пролепетала, что рада встрече и сожалеет, что они не познакомились раньше.

– А когда мы устроимся… – Она умолкла, и Уильям не знал, договорит ли она фразу. – Когда мы устроимся, будем ждать вас в гости.

– Благодарствую, – сказала его мать.

Беседа продолжалась, но ее прерывали долгие паузы. Нервозность Эдит нарастала, делалась все более явной, и пару раз она не отвечала на заданный ей вопрос. Уильям встал, и его мать, беспокойно оглядевшись, тоже поднялась. Но отец оставался на месте. Он смотрел на Эдит в упор и долго не сводил с нее глаз.

Наконец он сказал:

– Уильям с детства был славный малый. Я доволен, что у него будет хорошая жена. Мужчине нужна женщина, чтоб заботу оказывала и давала уют. Но уж будьте с Уильямом ласковы. Он заслужил, чтоб жена была ласковая, заботливая.

Голова Эдит качнулась назад, как будто она была неприятно поражена; глаза были широко раскрыты, и на секунду Уильяму показалось, что она злится. Но он ошибся. Его отец и Эдит долго глядели друг на друга, не отводя глаз.

– Я постараюсь, мистер Стоунер, – сказала Эдит. – Я постараюсь.

После этого отец встал, неуклюже поклонился и проговорил:

– Время вечернее, пора и честь знать. Мы пойдем. И он двинулся к выходу, ведя подле себя жену, маленькую, бесформенную и одетую в темное, и оста вив сына наедине с Эдит.

Эдит ничего ему не сказала. Но, повернувшись к ней пожелать спокойной ночи, Уильям увидел слезы у нее в глазах. Он наклонился поцеловать ее и ощутил выше локтя хрупкое судорожное пожатие ее тонких пальцев.

По большой гостиной дома Дарли на фоне окон, куда косо вливался холодный чистый свет февральского солнца, перемещались туда-сюда человеческие фигуры. В углу в сиротливом одиночестве стояли родители Стоунера; поблизости, не глядя на них, ждали старшие Бостуики, приехавшие всего час назад утренним поездом; по комнате деловито, словно главный распорядитель, тяжелой походкой расхаживал Гордон Финч; было еще несколько человек, которых Уильям раньше не видел, – знакомых Эдит и ее родителей. Говоря с гостями, он слышал собственный голос точно со стороны, ощущал, как губы гнутся в улыбке, и чужие слова доходили до его ушей как будто сквозь слои толстой ткани. Гордон Финч не покидал его надолго; потное лицо Финча блестело, круглясь над темным костюмом. Он нервно осклабился:

– Ну как, Билл, готов?

Стоунер почувствовал, как его голова опустилась и поднялась.

– Имеются ли у приговоренного какие-нибудь по следние желания? – спросил Финч.

Стоунер улыбнулся и покачал головой. Финч похлопал его по плечу:

– Ты знай держись около меня и делай, что я скажу; все на мази. Эдит спустится через несколько минут.

Он не был уверен, что будет помнить потом, как это происходило; все вокруг было расплывчатым, точно в тумане. Он услышал свой вопрос, адресованный Финчу: – А священник – я его не видел. Он здесь?

Финч засмеялся, покачал головой и что-то сказал. Потом по комнате прошел говор. Эдит спускалась по лестнице.

В белом платье она была подобна холодному свету, лившемуся в окна. Стоунер невольно двинулся было к ней, но ощутил на плече удерживающую руку Финча. Эдит была бледна, но слегка улыбнулась ему. Вот она уже рядом, и они идут вместе. Впереди возник незнакомый человек в круглом воротнике – низенький толстячок с невыразительным лицом. Он что-то бубнил, поглядывая в белую книжку, которую держал в руках. Уильям слышал, как он сам что-то произносит, когда молчание приглашает его к этому. Он чувствовал, что Эдит дрожит, стоя рядом.

Потом долгая тишина, потом снова говор, потом смех. Кто-то сказал: “Поцелуйте супругу!” Чьи-то руки повернули его; перед глазами мелькнуло улыбающееся лицо Финча. Уильям улыбнулся Эдит, чье лицо плавало перед ним, и поцеловал ее; губы у нее были такие же сухие, как у него.

Он чувствовал, как ему трясут руку; гости смеялись и хлопали его по плечу; в гостиной началось общее коловращение. В дверь входили новые люди. На длинном столе в конце комнаты появилась большая хрустальная чаша с пуншем. Рядом – торт. Кто-то соединил его ладонь с ладонью Эдит; возник нож; он понял, что должен вести ее руку, режущую торт.

Потом его отделили от Эдит, и он потерял ее в толпе из виду. Он разговаривал, смеялся, кивал и искал глазами Эдит. Увидел своих родителей, так и стоявших все время в одном и том же углу. Мать улыбалась, отец неуклюже положил ей руку на плечо. Уильям хотел к ним подойти, но у него не хватило духу прервать беседу с кем-то из гостей.

Наконец он увидел Эдит. Она стояла с отцом, матерью и тетей; ее отец, слегка хмурясь, оглядывал комнату, словно происходящее ему чем-то не нравилось; мать, судя по опухшим красным глазам на грузном лице, плакала, углы ее поджатых губ были опущены, как у обиженного ребенка. Миссис Дарли и Эдит обнимали ее; миссис Дарли торопливо говорила, словно пытаясь что-то ей объяснить. А Эдит – Уильям даже через комнату это видел – молчала, и ее лицо было белой, лишенной выражения маской. Чуть погодя они вывели миссис Бостуик из гостиной, и Уильям больше не видел Эдит до конца приема, когда Гордон Финч, прошептав что-то ему на ухо, повел его к боковой двери, выходившей в садик, и вытолкнул наружу. Там, съежившись от холода и закрыв лицо воротником, ждала Эдит. Гордон Финч, смеясь и произнося слова, смысл которых до Уильяма не доходил, понуждал их идти по дорожке на улицу, где стояла крытая коляска, готовая отправиться на вокзал. И только в поезде, ехавшем в Сент-Луис, где им предстояло провести послесвадебную неделю, Уильям Стоунер понял, что все свершилось и он теперь женат.

Они вступили в брак невинными, но невинными совершенно по-разному. Девственник и девственница, они оба сознавали свою неопытность; но если Уильям, выросший на ферме, не видел ничего необычного в естественных отправлениях жизни, то для Эдит они были тайной за семью печатями. Она ничего о них не знала и какой-то частью души не хотела знать.

Неудивительно, что у них, как у многих, брачная жизнь началась неудачно; они к тому же не хотели признаться в этом самим себе и лишь много позже начали понимать значение этой неудачи.

Они приехали в Сент-Луис поздно вечером в воскресенье. В поезде, среди незнакомых людей, смотревших на них с любопытством и одобрением, Эдит была оживлена и почти весела. Они смеялись, держались за руки и говорили о предстоящей жизни. В городе Уильям нанял экипаж, чтобы доехать до отеля, и веселость Эдит стала к тому времени немного истерической.

Он наполовину ввел, наполовину внес ее, смеющуюся, в отель “Амбассадор” – в массивное здание из тесаного песчаника. В почти безлюдном обширном вестибюле было сумрачно, как под сводами пещеры; когда они вошли, Эдит мгновенно умолкла, и, идя с ним через вестибюль к стойке, она ступала неуверенно, ее слегка пошатывало. К тому времени, как они оказались в номере, она уже выглядела едва ли не больной физически: дрожала точно в лихорадке, губы посинели, лицо белое как мел. Уильям хотел найти ей врача, но она отказалась наотрез: она просто устала, ей надо отдохнуть. День был трудный; они негромко, в серьезном тоне об этом поговорили, и Эдит намекнула на некое недомогание, которое временами сегодня ее беспокоит. Не глядя на него, она тихим голосом, лишенным интонаций, выразила желание, чтобы их первые часы вместе прошли в полной безмятежности.

– Так и будет, – заверил ее Уильям. – Отдохни. Наше супружество начнется завтра.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.